

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 7

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1856–1869 гг.

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том
7. Произведения 1856–1869 гг.**

«Библиотечный фонд»

1856-1869

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 7. Произведения 1856–1869 гг.
/ Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1856-1869 — (Весь
Толстой в один клик)

Содержание

Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 7. Произведения 1856-1869 гг.	5
Предисловие к электронному изданию ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1856—1869 гг.	6 10
ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ТОМУ.	11
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.	12
ПОЛИКУШКА	15
I.	15
II.	18
III.	20
IV.	22
V.	23
VI.	26
VII.	28
VIII.	30
IX.	33
X.	35
XI.	38
XII.	40
XIII.	42
XIV.	45
XV.	47
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ	52
[ВАРИАНТЫ К «ПОЛИКУШКЕ».]	52
* № 1.	52
* № 2.	52
* № 3.	54
* № 4.	54
* № 5.	55
** [ИДИЛЛИЯ.]	57
1.	57
2.	58
3.	61
4.	65
5.	68
[ВАРИАНТЫ К «ИДИЛЛИИ».]	70
ИДИЛЛИЯ	70
** П.ТИХОНЪ И МАЛАНЬЯ.	74
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 7. Произведения 1856-1869 гг.

Государственное издательство «Художественная литература»
Москва – 1936

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы:

[Государственный музей Л.Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 7-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 7-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в настоящее издание

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером –компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

Л. Н. ТОЛСТОЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ
/1828—1928/
ТОМ 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

LÉON TOLSTOÏ

OEUVRES COMPLETES

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE

de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:

K. CHOKHOR-TROTSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, A. GROUSINSKY,

N. PIKSANOFF, N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY,

A. TOLSTAÏA et M. TSIAYLOVSKY

SANCTIONNÉE PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:

V. BONTCH-BROUÏÉVITCH, J. LOUPPOL et M. SAVÉLIEFF

PREMIÈRE SÉRIE

O E U V R E S

T O M E

7

É D I T I O N D'É T A T

M O S C O U 1 9 3 6

Л. Н. Т О Л С Т О Й

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ:
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУДЗИЯ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. Е. ПИЕСАНОВА,
Н. С. РОДИОНОВА, П. Н. САКУЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО, А. Л. ТОЛСТОЙ,
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦЕГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА, Н. Е. ЛУШОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ
7

Перепечатка разрешается безвозмездно

—

Reproduction libre pour tous les pays.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1856—1869 гг.

РЕДАКТОРЫ:

А. С. ПЕТРОВСКИЙ

В. Ф. САВОДНИК

Н. М. МЕНДЕЛЬСОН

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения 1856—1869 гг.

Кроме рассказа «Поликушка», печатаемого по тексту «Русского вестника», в этот том включены варианты к этому рассказу, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а также шесть произведений, опубликованных после его смерти: «Тихон и Маланья», «Идиллия», «Сон», «Оазис», «Зараженное семейство» и «Комедия в 3-х действиях».

Впервые печатаются следующие наброски и рассказы художественного содержания в большинстве Толстым не озаглавленные. «Отрывки рассказов из деревенской жизни», «Рождественская елка», «Анекдот о застенчивом молодом человеке», «Степан Семенович», «Убийца жены» и четыре драматических отрывка: «Дворянское семейство», «Практический человек», «Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь».

Группу отрывков философского содержания, впервые публикуемых, составляют: «О характере мышления в молодости и старости», «О насилии», «О религии» и «Философский отрывок».

В число впервые печатаемых отрывков публицистического содержания входят: «Заметка о Тульской полиции» и «О браке и призвании женщины».

В текстологических работах настоящего тома деятельное участие принимала А. И. Толстая-Попова.

Н. М. Мендельсон.

А. С. Петровский.

В. Ф. Саводник.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Л. Н. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с сохранением больших букв, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Н. Толстого и лиц его круга (брычка, целовать).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Л. Н. Толстого (произведения неотделанные, незаконченные, только начатые, а также черновые тексты опубликованных произведений, соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания Толстым одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, пропущенные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах, поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как, например, крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п., лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова в процессе беглого письма, для экономии времени, писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, печатаются один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится [1 неразобр.] или [2 неразобр.], и т. д., где цифры обозначают число неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи печатается (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительно по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сносках, а в самом тексте и ставятся в ломаных < > скобках; однако в некоторых случаях допускается воспроизведение и отдельных зачеркнутых слов в ломаных скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом. Дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Пометы *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что произведение печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.



Л. Н. ТОЛСТОЙ
1862 г.
Размер подлинника.
(1861—1862)

ПОЛИКУШКА (1861—1862)

I.

– Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему итти, – говорил приказчик: – и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнув голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой неидущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «хорошо, хорошо», на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были несомненно назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшего в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых», говорила она с чувством. – «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута», – вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович устался спокойно, даже прислонился незаметно к притолке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крикнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время как член оппозиции громил министерство, и вдруг встав, трехчасовую речь отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

– Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до Покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян

на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему всё равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, всё в бедности жили. Только-только дождался старик меньшего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности как о своей забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

– Да я и не думаю, Егор, – прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

– ... А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необходимости, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала, – не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «добродетель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он верно реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня.

– Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов? – сказала она: – я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я всё делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что, для того чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *всем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла притти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликее я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне и плакал, и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!») подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: апельсинное или лимонное? «Должно-быть с горечью», подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей, и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня запила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

– Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

– Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я всё готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не Бог: «Ну да всё равно, не в том дело», подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликеея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила, – она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

– Что ты, Дуняша?

– Мужик пришел, велел спросить у Егора Михалыча, прикажут ли дожидаться сходке? – сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик! – подумала она: – растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

– Так поди, Егор, – сказала барыня, – делай, как лучше.

– Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.) А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

– Петруша разве не приезжал из города?

– Никак нет-с.

– А Николай не может ли съездить?

– Тятенька от поясницы лежит, – сказала Дуняша.

– Не прикажете ли мне самому завтра съездить? – спросил приказчик.

– Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.) Сколько денег?

– 462 рубля-с.

– Поликея пошли, – сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.

– Слушаю-с.

– Пошли его ко мне.

– Слушаю-с, – и Егор Михайлович пошел в контору.

II.

Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и *угол* у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. *Углы* еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганным одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок, и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим – взлезая на печку, где было до 40 градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать – не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что, – всё у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и не трудно всё достается, и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за всё разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему Бог счастье: жена, скотникова дочь, попала баба здоровая, умная, работящая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей всё своего промысла не оставлял, и всё шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем всё навыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, – говорит, – человек, что мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять», рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные

часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он всё исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о Боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

– Я тебя прощаю, только обещаю тебе никогда этого вперед не делать.

– Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! – говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома как теленок ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала не веселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало-быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спускать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом, под брюхом дворниковой лошади, передернул покровку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь, что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, – мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечуй, спускать кровь, матерю* и т. п., разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? *Wage du zu irren und zu träumen!*¹ – это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

¹ [Дерзай заблуждаться и мечтать!]

III.

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и, чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его несомненно первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о Немцах, употребляющих весы. «Это, – говорил он, – не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет», сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказания; но увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами: «Вишь, дошлый! Откуда берется!» подумала она и опять принялась прясть. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

– Анютка, – крикнула она, – видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

– Натё, тятенька, – сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

– Сто толкается, – пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

– Я вас! – проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

– Три целковых даст, – проговорил Поликей, затыкая бутылку, – вылечу лошадь. Еще дешево, – прибавил он. – Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла, не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак, и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа, и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка – так звали девочку – всегда летала как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

– Барыня велела Поликеею Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупку ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обыкновенною быстротой замотались поперек линии ее бега.

Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

– Ильич, рубаху переменять не станешь?

– Не, – сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко-несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

– Чтò, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? – раздался голос столяровой жены из-за перегородки.

Столярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней разлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно-быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

– Должно-быть, в город за покупками хотят послать, – продолжала она. – Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, Столяровой жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярову жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

– Мамуска, ты меня сплюсила, – проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

– Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! – прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столяровой жене, не забывшей еще про утренний щелок.

IV.

Прошло полчаса. Ребенок закричал, Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столярной жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

– Ну что? Зачем звала?

– Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

– Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

– К купцу за деньгами велела ехать.

– Деньги везть? – спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

– Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечаньи, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит; вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как Богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу всё изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я всё могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице). Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаслю, что шелковый станет.

– И много денег? – спросила еще Акулина.

– Три полтысячи рублей, – небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

– Когда ехать?

– Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь, какую хочешь, зайди в контору и ступай с Богом.

– Слава тебе, Господи! – сказала Акулина, вставая и крестясь.

– Помоги тебе Бог, Ильич, – прибавила она шопотом, чтобы не слышали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи. – Ильич, слушай меня, Христом-Богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

– А то пить стану, с такими деньгами ехамши! – фыркнул он. – Уж как там в фортепьян играл кто-то, ловко, беда! – прибавил он, помолчав и усмехаясь. – Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

V.

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Всё ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса, и случится что-нибудь. «Как будто нельзя всё сделать тихо, мирно, без спору, без крику», – думала она, – «по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и напал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре *в коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачли и его бы сравняли с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова; но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, всё время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный; был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен, и со всей высоты своего роста, всею силой звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четверугольною головой и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один, с добродушнейшею рожей и окладистою русою бородой, Храпков, всё приговаривавший: «друг ты мой любезный», и другой маленький, с птичьей рожицей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «выходит, братцы мои», обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу, ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех

были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, Бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шопотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладывать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцовитым лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывая на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

– Так-то и мой дед в солдатах был, – говорил Резун, – так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрили, а его дядя еще домой не приходил.

– У тебя ни отец, ни дядя царю не служили, – в одно и то же время говорил Дутлов, – да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделались. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно, да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по Божьему, мир православный, а не так, что пьяный сбредет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

– Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

– То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну итти, а не хочешь, проси барыню, она може велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот-те и закон, – сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: – Вот так, так! – и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о *своих* делах, и болтуны не забывали своей должности.

– И точно, мир православный, – говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова, – надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

– Надо по совести судить, друг ты мой любезный, – говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп, – на то господская воля была, а не мирское решение.

– Верно! Вон оно что! – говорили другие.

– Кто пьяный бредет? – возражал Резун. – Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что, братцы, надо решение сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

– Дутлову итти! Что говорить!

– Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать, – заговорили голоса.

– Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели, – сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро опять он загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и всё мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе, и стал спрашивать:

– Кто украл?

– Ты украл, – смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

– Кто украл? не ты ли? – кричал Резун.

– Нет, ты! – кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденной лошади, до мешков с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоим, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят», а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделились. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.

– Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить в конец? – слышались голоса деленых, и болтуны пристали к этим голосам.

– А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! – сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков. – Ты мои деньги считал, видно, – проговорил он злобно. – Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

VI.

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, понемногу, затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке, и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующем над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

– Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По настоящему, два с половиной, да половина вперед пойдет. Всё равно: не нынче, так в другой раз.

– Известно! Это дело! – сказали голоса.

– По моему суждению, – продолжал Егор Михайлович, – Хорюшкиному и Митюхиному Ваське итти, – это уж сам Бог велел.

– Так точно, верно, – сказали голоса.

– Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

– Дутлову, – заговорили голоса, – Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу – начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веретей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

– Мой что ль? Покажь сюда, – сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принести, к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что всё кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь-Дутловы прошли за-угол, он позвал к себе старика, который сам остановился и вошел с ним в контору.

– Жалко мне тебя, старик, – сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом: – на тебе черед. Не купишь за племянника, или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

– Не миновать, – ответил Егор Михайлович на его взгляд.

– И ради бы купили, не из чего, Егор Михальч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

– Эх, старый, не грехи! – сказал он, – а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

– В губерни? – спросил Дутлов, под *губерней* разумея город.

– Что ж, купишь?

– И рад бы, вот перед Богом, да...

Егор Михайлович строго перервал его:

– Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришло, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели что, избави Бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

– Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно, – сказал он, помолчав, – как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? – заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

– Ну, ступай, ступай, – сказал Егор Михайлович: – ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дорога.

VII.

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигера» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик ездил), запряженная ширококостым гнедым меринном, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В угле происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время истряпню в печи, и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери, – Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову, всё-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе – той иглою, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку и сахарцу столярной жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке, и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальной иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана, – кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти всё одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и тухли, и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «прокатили и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шопотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятерился.

Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа, изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на

поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже, – он едет теперь получать сумму денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременною упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, не от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублей. Но Ильич так не думал, он заблуждался и приятно заблуждался. Три полтысячи рублей повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда Бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поровнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то что у него были деньги, данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпрег, приставил к сену лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, тапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу всё купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал всё и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее, и наконец со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублей уступил», сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напоив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич всё это осмотрел и заучил и даже потрогал вострые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и шупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно, – так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

VIII.

Около полуночи и купцовы работники, и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкии и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

– Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? – спросил староста.

– Ужинать, – отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке. – Посылай за водкой.

– Будет те водки-то, – отвечал староста мельком и снова обратился к другим: – Так хлебца закусите, ребята. Чтò народ будить?

– Водки дай, – повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка всё повторял: «Водки дай, я говорю, подай». – Вдруг он увидал Поликаея: – Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты уpekли. Поставь водки.

– Денег нет, – отвечал Поликей. – Еще, Бог даст, затылок, – прибавил Поликей, утешая.

– Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился.

– Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу оставаться. Дядя меня уpek. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так, ни за чтò погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.

– Да что же вас так рано привезли? – спросил Поликей: – то ничего не слышать было, а то вдруг...

– Вишь, бояться, чтоб я над собой чего не сделал, – отвечал Илюшка, улыбаясь. – Небось, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили? – говорил он тихо и грустно.

Дверь открылась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

– Афанасий, – сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику, – нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк акуратно подпоясан; точно он с обозом приехал; так обычно просто, мирно и озабочено хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

– Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

– Какое теперь вино? – отвечал староста, хлебая из чашки: – видишь, люди поели да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

– Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

– Хоть бы ты его урезонил, – обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболезнаванием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

– Вина дай, беду наделаю.

– Брось, Илья! – сказал староста кротко, – право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

– Не хотите слушать, вот вам! – и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясавшись, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, казалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатыми кулаками к Дутлову.

– Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты, с своими сыновьями разбойниками, ты загубил меня. Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; всё его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него:

– Братнину кровь пьешь, кровопийца.

Что-то сверкнуло на вечно-спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед:

– Не хотел добром, – проговорил он и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился, – встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.

– Говорил, хуже будет, – сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясok рубахи: – что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк, – прибавил он, обращаясь к дворнику: – а то голова затечет, – и сам взял фонарь, подпоясавшись веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутой рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекол и утыкал в окно полушубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

– Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже женатый; не миновать видно.

– От злодея дяди погибаю, – повторил Илья с сухой злобой. – Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?.. Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

– Разе не жалко? Брата родного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним изделали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малого-то!..

– Ох, малый хорош! – сказал староста.

– Да мочи моей с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

– Присылай-ка, ладно, – сказал староста, встал и полез на печку. – Чтò деньги? Деньги прах.

– Были бы деньги, кто бы пожалел? – проговорил купеческий работник, поднимая голову.

– Эх, деньги, деньги! Много греха от них, – отозвался Дутлов. – Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в писании сказано.

– Всё сказано, – повторил дворник. – Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собою в гроб положить. Не догадались так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что должно в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так чтò ж ты думаешь? Открыли, в подушке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно, чтò деньги-то делают.

– Известно, греха много, – сказал Дутлов, встал и начал молиться Богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

IX.

Как только всё затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уж перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запретил его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то всё почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его, да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха, мороз пробегал у него по спине, и он всё потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога; Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху? – думал он: – еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху, а вниз из подкладки не выскочит. И сымать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте на вынос выскакал в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Всё было в порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предался мечтаниям о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стучаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове; он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигерь», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...» а может и пять, а может и десять целковых, и велит еще чаю поднести ему, а може и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнулся еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрее, еще быстрее, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

– Батюшки! Да что же это?! Что всё это будет! – заревел он, схватив себя за волосы.

Но тут же вспомнив, что его могут увидеть, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнался удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем, – должен был думать Барабан. – Один раз в жизни он накормил я напоил меня вовремя и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня.

Как я старался бежать домой! Устал, а тут, только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

– Ну, ты, одер чертовский! – сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом.

X.

Целый день этот никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал, или что с лошадей что-нибудь случилось. «Не захромала ли? – говорила она: – прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя, – но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что Столярова жена уверяла, как она сама видела: «человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность, хоть поочередно, выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома в одних платьях делать круги с усиленною быстротою, чем не мало стесняли всех жителей *флигера*, входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столярской жены, несшей воду, и, хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «не приезжал ли Поликей, и где он может быть?» улыбнулся, отвечая: «не могу знать», и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать», сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал, – говорил этот человек, – что пьяный, и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина не спала всю ночь, всё прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна, и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи, и столярская жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлеба вынуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принести и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея всё не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издали было и слышно, и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой совываясь в устье, так занялась печением лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом, розовом, ситцевом, не мытом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и кололо глаза соседям; *волосы* у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком. «Тятенька приехали», завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну, вас! всех перепорю!» и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен, и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобратъ.

– Что, Ильич, благополучно? – спросила она от печи.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

– Ась? – крикнула она. – Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

– А, Ильич? Что долго? – раздался голос Акулины.

– Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! – сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

– Что ты, Ильич, как будто не по себе? – сказала Акулина.

– Не спал, – отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновение, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

– Барыня велела Поликею Ильичу притти сею минутою, – сказала она. – Сею минутою велела Авдотья Миколавна... сею минутою.

Поликей посмотрел на Акулину, на девочку.

– Сейчас! Чего еще надо? – сказал он так просто, что Акулина успокоилась: может, наградить хочет. – Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, поставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и попробовала воду.

– Иди, Машка, вымою.

Сердитая, сюсюкающая девочка заревела.

– Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну, ломайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликей между тем пошел не за верховою девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице.

– Что-то такое значит, что Поликей не приходит, – сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дуняше, которая чесала ей голову: – где Поликей? Отчего он не идет?

Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы и потребовала Ильича к барыне.

– Да он пошел давно, – отвечала Акулина, которая, вымыв Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосики. Мальчик кричал, морщился и старался поймать что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукой его пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку, а другою мыла его.

– Посмотри, не заснул ли он где, – сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесанная, с распахнутою грудью, поддерживая юпки, входила на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее кдтом, чем бегом, слетела с лестницы.

– Ильич! – крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

– Удавился! – проревела Столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек, перекатился навзничь и, задрав ножонки, головой окунулся в воду, выбежала в сени.

– На балке... висит, – проговорила столярова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убила бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее.

XI.

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столяр и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столярова жена в двадцатый раз рассказала, «как она, ничего не думавши, пошла за пелеринкой, глянула этаким манером: вижу человек стоит; посмотрела: шапка подле вывернута лежит, Глядь, а ноги качаются. Так меня холодом и обдало.

Легко ли, повесился человек, и я это видеть должна. Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня Бог спас. Истинно, Господь помиловал. Легко ли! И кручь, и вышина какая! Так бы до смерти и убилась».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубаше и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывернутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подле. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина пришла в себя и рванулась опять на лестницу; но ее не пустили.

– Мамуска, Семка захлебнулся, – вдруг запищала сюсюкающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребенок, не шевелясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеявшись, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валил в *угол* с воем и плачем. Ребенка вынесли, стали оттирать; но всё было напрасно. Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только теперь, увидав эту разнородную толпу женатых, стариков, детей, столпившихся в сенях, можно было понять, какая бездна и какой народ жил в дворовом *флигере*. Все суетились, все говорили, многие плакали, и никто ничего не делал. Столярова жена всё еще находила людей, не слыжавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чувства были поражены неожиданным видом, и как Бог спас ее от падения с лестницы. Старичок буфетчик в женской кацавейке рассказывал, как при покойном барине женщина в пруду утопилась. Приказчик отправил к становому и к священнику послов и назначил караул. Верховая девушка Аксютка с выкаченными глазами всё смотрела в дыру на чердак и, хотя ничего там не видала, не могла оторваться и пойти к барыне. Агафья Михайловна, бывшая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своими практичными, пухлыми и пропитанными деревянным маслом руками укладывала маленького покойника на столик. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взглядывали на мать и принимались реветь, потом замолкали, опять взглядывали и еще пуще жались. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами смотрели в двери и в окна, ничего не видя и не понимая, и спрашивая друг у друга, в чем дело. Один говорил, что столяр своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что прачка родила тройню. Третий говорил, что поварова кошка взбесилась и перекусила народ. Но истина понемногу распространялась и наконец достигла ушей барыни. И, кажется, даже не сумели приготовить ее: грубый Егор прямо доложил ей и так расстроил нервы барыни, что она долго после не могла оправиться. Толпа уже начинала успокоиваться; столярова жена поставила самовар и заварила чай, причем посторонние, не получая приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «барыня, барыня!» и все опять столпились и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хотели видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол. Десятки

голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она запищала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выгадала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых всё равно, что бенгальский огонь в конце представления. Уж значит хорошо, коли бенгальский огонь зажгли, и уж значит хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла ее за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

– Акулина! – сказала барыня. – У тебя дети, пожалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

– У меня дети всё серебряные, всё серебряные... Я бумажек не держу, – забормотала она скороговоркой. – Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вот тебя и подмазали, подмазали дегтем. Дегтем с мылом, сударыня. Какие бы парши ни были, сейчас соскочут. – И опять она захохотала еще пуще.

Барыня обернулась и потребовала фершела с горчицей. «Воды холодной дайте», и она стала сама искать воды; но, увидав мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было всё это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не видала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней сделалась нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было», подумали многие и стали расходиться. Акулина всё хохотала и говорила вздор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горчишниками, льду приложили к голове; но она всё так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила, и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухаживали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

ХII.

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; девки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонию, ни в балалайки, и с девушками не играли. Все сидели по углам и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем всё еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завыли собаки, и тут же на беду поднялся ветер и завыл в трубы, и такой страх нашел на всех жителей двора, что у кого были свечи, те зажгли их перед образом; кто был один в угле, пошел к соседям проситься ночевать, где полуднее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожалел оставить скотину без корму на эту ночь. И святую воду, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то всё ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак. В Поликеевом угле никого не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал, да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь, не над младенцем, а так по случаю всего этого несчастья. Так пожелала барыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: «да воскреснет Бог», опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали, и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях, на сене, и потом уверяли, что слышали тоже чудеса на чердаке, хотя в самую эту ночь преспокойно беседовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чесались и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что столярова жена, проходя мимо их, сплюнула и обругала их мужичьем. Как бы то ни было, удавленник всё висел на чердаке, и как будто сам злой дух осенил в эту ночь *флигер* огромным крылом, показав свою власть и ближе, чем когда-либо, став к этим людям. По крайней мере, все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе несправедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив, или даже не осенив себя крестным знаменем, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столяровой женою пелеринки, – добрался до Ильича, и ежели бы, не поддавшись чувству страха, поднял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худошавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшееся на-бок, с расстегнутым воротом рубахи, под которою не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, невидящими глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столярова жена, прижавшись в углу своей кровати, с растрепанными волосами и испуганными глазами, рассказывающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верху*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флигере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Дуняша грела желтый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до нездоровья. К Дуняше для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

– Кто же за маслом пойдет? – сказала Дуняша.

– Ни за что, Авдотья Миколавна, не пойду, – решительно отвечала вторая девушка.

– Полно; с Аксюткой вместе поди.

– Я одна сбегаю, я ничего не боюсь, – сказала Аксютка, но тут же заробела.

– Ну поди, умница, спроси у бабушки Анны, в стакане, и принеси, не расплескай, – сказала ей Дуняша.

Аксютка подобрала одною рукой подол, и хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, замахала одною вдвое сильнее, поперек линий своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что ежели бы она увидала или услышала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой тропинке.

ХІІІ.

«Барыня спит али нет?» спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкий голос. Она открыла глаза, которые прежде были зажмурены, и увидала чью-то фигуру, которая, показалась ей, была выше *флигеря*; она взвизгнула и понеслась назад, так что ее юбка не поспевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим в девичьей, и с диким воплем бросилась на постель. Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и нерешительные шаги послышались в сенях и у двери. Дуняша бросилась к барыне, уронив спуск; вторая горничная спряталась за юпки, висевшие на стене; тетка, более решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату. Это был Дутлов в своих лодках. Не обращая внимания на страх девушек, он поискал глазами иконы и, не найдя маленького образа, висевшего в левом углу, перекрестился на шкафчик с чашками, положил шапку на окно и, засунув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Дуняшина тетка схватилась за грудь... Насилу она выговорила:

– Перепугал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

– Можно ли так? – проговорила вторая девушка, высовываясь из-за юпок.

– И барыню даже встревожили, – сказала Дуняша, выходя из двери: – что лезешь на девичье крыльцо не спросимши? Настоящий мужик!

Дутлов, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

– Она не здорова, – сказала Дуняша.

В это время Аксютка фыркнула таким неприлично-громким смехом, что опять должна была спрятать голову в подушки постели, из которых она целый час, несмотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепугались, – и она опять прятала голову, и будто в конвульсиях елозила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но, не разобрав в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

– Значит, как есть, очень важное дело, – сказал он, – только скажите, что мужик письмо с деньгами нашел.

– Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и расспросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезть из города. Разузнав всё подробно и вытолкнув в сени бегунью, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к удивлению Дутлова, барыня всё-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

– Ничего не знаю и не хочу знать, – сказала барыня: – какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

– Что же я буду делать? – сказал Дутлов, поворачивая конверт: – деньги не маленькие. Написано-то что на них? – спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто всё что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще. Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

– Видно, становому отдать, – сказал он.

– Постой, я еще попытаюсь, скажу, – остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика. – Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

- Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.
- Да дай сюда.
- Я было думал, так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.
- Да давай же.
- Я и не посмел домой заходить для того... – опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом: – так и доложите.
- Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне.
- Ах, Боже мой, Дуняша! – сказала барыня укорительным голосом: – не говори мне про эти деньги. Как я вспомню только этого малюточку...
- Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать, – опять сказала Дуняша.
- Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, и задумалась.
- Страшные деньги, сколько зла они делают! – сказала, она.
- Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему итти, или изволите выйти к нему? Целы ли еще деньги-то? – спросила Дуняша.
- Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Чтò они наделали? Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет, – сказала вдруг барыня, отыскивая руку Дуняши. – Да, да, да, – повторила барыня удивленной Дуняше, – пускай совсем возьмет себе и делает, что хочет.
- Полторы тысячи рублей, – заметила Дуняша, слегка улыбаясь, как с ребенком.
- Пускай возьмет всё, – нетерпеливо повторила барыня. – Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!
- Дуняша вышла в девичью.
- Все ли? – спросил Дутлов.
- Да уж ты сам сосчитай, – сказала Дуняша, подавая ему конверт, – тебе велено отдать. Дутлов положил шапку под мышку и, пригнувшись, стал считать.
- Счетов нету?
- Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.
- Дома сосчитаешь! Тебе! твои деньги! – сказала Дуняша сердито. – Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.
- Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.
- Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.
- Матушки родимые! Вот дал Бог счастья! Матушки родные!
- Вторая горничная не поверила.
- Что вы, Авдотья Николавна, шутите?
- Вот-те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги, да и ступай, – сказала Дуняша, не скрывая досады. – Кому горе, а кому счастье.
- Шутка ли, полторы тысячи рублей, – сказала тетка.
- Больше, – подтвердила Дуняша. – Ну, свечку поставить десятикопеечную Миколе, – говорила Дуняша насмешливо. – Чтò, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.
- Дутлов, наконец, понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он всё взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.
- Вишь, не опомнится – рад, – сказала Дуняша, показывая, что она всё-таки презирает и мужика и деньги. – Дай я тебе уложу.
- И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку.
- Рад?
- И не знаю, чтò сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнулся, чуть не заплакал и вышел. Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

– Что, отдала?

– Отдала.

– Что же, очень рад?

– Совсем как сумасшедший стал.

– Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

Дуняша побежала и застала мужика в сенях. Он, не надевая шапки, вытянул кошель и, перегнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошеле, они не его. Когда Дуняша позвала его, он испугался.

– Чтò, Авдотья... Авдотья Миколавна. Али назад отобрать хочет? Хоть бы вы заступились, ей-Богу, а я медку вам принесу.

– То-то! Приносил.

Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» думал он, почему-то как по высокой траве подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, чтò было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и всё представлялось ему в тумане.

– Это ты, Дутлов?

– Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал, – сказал он. – Я не рад, как перед Богом! Как лошадь замучил...

– Ну, твое счастье, – сказала она с презрительно-доброю улыбкой. – Возьми, возьми себе. Он только таращил глаза.

– Я рада, что тебе досталось. Дай Бог, чтобы впрок пошло! Что же ты рад?

– Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Всё за вас Богу молить буду. Я уж так рад, что слава Богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

– Как же ты нашел?

– Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

– Уж он совсем запутался, сударыня, – сказала Дуняша.

– Возил рекрута племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

– Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.

– Так рад, матушка!.. – говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то всё казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут...

XIV.

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.

– А, дядя Семен, – радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) – Что, свезли рекрутов, дядюшка?

– Свезли. Ты что?

– Да тут Ильича удушенного караулить поставили.

– А он где?

– Вон, на чердаке, говорят, висит, – отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидел, поморщился, прищурился и покачал головой.

– Становой приехал, – сказал Ефимка, – сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дядюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велят итти наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михалыч, не пойду.

– Грех-то, грех-то какой! – повторил Дутлов видимо для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел итти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.

– Эй, караульщик, поди сюда, – кричал Егор Михайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

– Да кто еще там с тобой мужик стоял?

– Дутлов.

– И ты, Семен, иди.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

– Вот и старик с нами пойдет, – сказал Егор Михайлович, увидав его.

Старика покорило; но делать было нечего.

– А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благородию пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах и был только что жестоко распечен исправником за пьянство и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удушенника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михалыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подробностях.

«Ну, пропали деньги», подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.

– Вот счастье сиволапому! – сказал он.

– Ему на руку, – сказал Егор Михайлович: – он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.

– А! – сказал становой и пошел вперед.

– Выкупишь, что ль, Илюшку-то? – сказал Егор Михайлович.

– Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь и не время.

– Как знаешь, – сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.

– Где? – спросил становой.

– Здесь, – шопотом сказал Егор Михайлович. – Ефимка, – прибавил он, – ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он с веселым лицом полез вперед, только оглядываясь и освещая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив уже одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

– Дядя! тебя зовет! – крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частию за балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Поликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

– Поверни-ка его, ребята, – сказал становой.

Никто не тронулся.

– Ефимка, ты малый молодой, – сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через балку и, перевернув Ильича, стал подле, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку, и готовый исполнить все желания зрителей.

– Еще поверни.

Ильич еще повернулся, замахал слегка руками и поволок ногой по песку.

– Берись, снимай.

– Отрубить прикажете, Василий Борисович? – сказал Егор Михайлович. – Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раза два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей тушей. Наконец, отрубили веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра приедет лекарь, и отпустил народ.

XV.

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но по мере того, как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внуки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грязной, не праздничной рубахе, простоволосая, сидела на лавке и выла. Она не вышла отворить дяде, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собрала ужинать мужу. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» сказал он. Аксиныя встала и, прилегши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помолившись Богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со старухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами; наконец, стукнул крышкой сундука и полез в подполье. Долго возился он в чулане и в подпольи. Когда он вошел, в избе уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная, уже завалилась на палати и храпела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке, не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полез на печку и лег рядом с мальчиком внучком. В темноте он покидал сверху лапти и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислушиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, храпенью, чесанью нога об ногу и к звукам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Аксиныю и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он, или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые *он* употребил на пагубу Ильича. По крайней мере, Дутлов чувствовал *его* тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиныи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. «Что это, или уж староста повешать идет?» подумал он. «Как это он отпер?» подумал старик, слыша шаги в сенях: «или старуха не заложила, как выходила в сенцы?» Собака завыла на задворке, а *он* шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять *он* стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был *он*. Он хотел сотворить крест, но не мог. *Он* подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик узнал, что *он* был в Ильичовом образе. *Он* оскалился, руки болтались. *Он* взлез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

– Мои деньги, – выговорил Ильич.

– Отпусти, не буду, – хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его всею тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что ежели он прочтет молитву, *он* отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал: дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет Бог», прогово-

рил Дутлов. *Он* отпустил немного. «И расточатся врази...» шамкал Дутлов. *Он* сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул *он* обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал все под ряд. *Он* пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Всё опять затихло. Дед лежал, не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. Он слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал закричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она спрыгнула на мягкие лапки с печки наземь и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что *хозяин* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял его на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят», сказал он, «в город поеду», и, зажегши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел оттуда. Ребята встали и уже собирались. Бабы входили и выходили с ведрами и с шайками молока. Игнат запрягал телегу. Второй сын мазал другую. Молодайка уже не выла, но, убравшись и повязавшись платком, сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не сказал ни одного слова, надел новый кафтан, подпоясался и, со всеми Ильичовыми деньгами за пазухой, пошел к Егору Михайловичу.

– Ты у меня копайся! – крикнул он на Игната, вертевшего колеса на поднятой и смазанной оси. – Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик, только что встав, пил чай и сам собирался в город ставить рекрут.

– Что ты? – спросил он.

– Я, Егор Михалыч, малого выкупить хочу. Уж сделайте милость. Вы наемни говорили, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

– Что ж, передумал?

– Передумал, Егор Михалыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, всё жалко. Греха от них много, от денег от этих. Уж сделай милость научи, – говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях, глубокомысленно и молча чмокал долго губами и, обсудив дело, написал две записки и рассказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодая уже уехала с Игнатом, и чалая брюхастая кобыла, совсем запряженная, стояла под воротами. Он выломил хворостину из забора; запахнувшись, уселся в ящик и погнал лошадь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало всё брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты, и чортовы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех походов Дутлова в это утро; скажу только, что ему особенно посчастливилось. У хозяина, которому Егор Михайлович дал записку, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в Палате. Хозяин хотел взять за него четыреста, а покупатель, мещанин, ходивший уже третью неделю, всё просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с двух слов. «Триста с четвертной возьми», сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще надбавить. Хозяин оттягивал руку и продолжал просить четыреста. «Не возьми с четвертной?» повторил Дутлов, схватывая левою рукой правую руку хозяина и угрожая хлопнуть по ней своею правою. «Не возьми? Ну, Бог с тобой!» вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. «Видно так и быть! Бери с полсотней. Выправляй фитанец. Веди малого-то. А теперь на задатку. Две красненьких будет, что ль?»

И Дутлов распоясывался и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но всё еще как будто бы не совсем соглашался и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и угощение охотнику.

– Не грехи, – повторял Дутлов, суя ему деньги, – умирать будем, – повторял он таким кротким, поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

– Нечего делать, – еще раз ударил по руке и стал молиться Богу. – Дай Бог час, – сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был весел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заработал только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик-хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, кого-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубоко-мысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда окончить дело нынче была оставлена, и охотник начинал было опять становиться веселее и развязнее, как Дутлов увидал Егора Михайловича, тотчас же вцепился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общею почему-то веселостью, начиная от сторожей до председателя, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять минут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, простившись с хозяином и охотником, пошел на квартиру к купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодой сидели в углу купцово́й кухни, и, как только вошел старик, они перестали говорить и уставились на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда, старик помолился Богу, распоясался, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшкину мать, которая была на дворе.

– Ты не грехи, Илюха, – сказал он, подходя к племяннику. – Вечор ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалею? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал счастья, я не пожалел. Вот она бумага-то, – сказал он, кладя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кривыми, не разгибающимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купцовы работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

– Вот она бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная, что́ сказать. Губы его вздрагивали от волнения; старуха мать подошла было к нему, всхлипывая, и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее рукою и продолжал говорить:

– Ты мне вчера одно слово сказал, – повторил еще раз старик, – ты меня этим словом как ножом в сердце пырнул. Твой отец мне тебя, умираючи, приказывал, ты мне заместо сына родного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные? – обратился он к стоявшим вокруг мужикам. – Вот и матушка твоя родная тут, и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, с деньгами! А меня простите, Христа-ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не прежде, как дотронувшись головою до земли, он встал и, отряхнувшись, сел на лавку. Илюшкина мать и молодая выли от радости; в толпе слышались голоса одобрения. «По правде, по Божьему, так-то», говорил один. «Что́ деньги? За деньги малого не купишь», говорил другой. «Радость-то какая», говорил третий: «справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалою кобылой, с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки, котелок и калачи. Во второй телеге, которую никто не правил, сте-

пенно и счастливо сидели молодайка с свекровью, обвязанные платочками. Молодайка держала под занавеской штофчик. Илюшка, скорчившись задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трёсся на передке, закусывая калачом и не переставая разговаривать. И голоса, и гром телег по мостовой, и пофыркивание лошадей, всё сливалось в один веселый звук. Лошади, помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балалайку; другой без шапки, со штофом водки в одной руке, плясал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плясавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивившаяся на него публика всё увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрее становить одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал балалаечнику, и тот еще бойчее начинал дребежжать всеми струнами и даже постукивать по крышке костяшками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он всё, казалось, плясал. Вдруг он начинал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг взвизывался кверху, с разлету садился на корточки и с диким визгом пускался в присядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужчины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле пляшущего с видом, говорившим: «вам это в диковинку, а нам уже всё это коротко знакомо». Балалаечник, видимо, устал, лениво оглянулся, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

– Эй! Алеха! – сказал балалаечник плясавшему, указывая на Дутлова: – вон крестный-то!

– Где? Друг ты мой любезный! – закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падая наперед и подымая над головою штоф водки, подвинулся к телеге.

– Мишка! Стакан! – закричал он. – Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-то, право!.. – вскричал он, заваливаясь пьяною головой в телегу, и начал угощать мужиков и баб водкою. Мужики выпили, бабы отказывались. – Родные вы мои, чем мне вас одарить? – восклицал Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидел ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

– Небось, заплачу-у-у, чорт, – завопил он плачущим голосом и тут же, вытащив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

– Матушка-то которая? – спросил он: – ты, что ль? И ей пожертвую.

Он задумался на мгновение и полез в карман, достал новый сложенный платок, полотенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красный платок, скомкал всё и сунул в колени старухе.

– На тебе, жертвую, – сказал он голосом, который становился всё тише и тише.

– Зачем? Спасибо, родный! Вишь, прдстый малый какой, – говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подошедшему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовелый, как будто засыпая, поникал всё ниже и ниже головой.

– За вас иду, за вас погибаю! – проговорил он. – За то вас и дарую.

– Я чай, тоже матушка есть, – сказал кто-то из толпы: – Прдстый малой какой! Беда!

Алеха поднял голову.

– Матушка есть, – сказал он. – Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая, – прибавил он, хватая Илюшкину старуху за руку. – Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Никонову, она самая моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, колодезь новый... скажи ты ей, что Алеха, сын твой... значит... Музыкан! Валяй! – крикнул он.

И он опять стал плясать, приговаривая, и швырнул об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

– Прощай, дай Бог тебе!... – проговорила старуха, запахивая шубу.

Алеха вдруг остановился.

– Поезжайте вы к дьяволу, – закричал он, угрожая стиснутыми кулаками. – Чтоб твоей матери...

– Ох, Господи! – проговорила, крестясь, Илюшкина мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали. Алексей рекрут стоял посередине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков, что было мочи.

– Что стали? Пошел! Дьяволы, людоеды! – кричал он. – Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял, со всех ног ударился оземь.

Скоро Дутловы выехали в поле и, оглядываясь, уже не видали толпы рекрут. Проехав верст пять шагом, Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул старик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Вдвоем выпили они штофчик, взятый из города. Немного погодя, Илья запел песни, бабы подтянули ему. Игнат весело покрикивал на лошадь в лад песни. Быстро навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко крикнул на лошадей, поровнявшись с двумя веселыми телегами; почтальон оглянулся и подмигнул на красные лица мужиков и баб, с веселою песней трясшихся в телеге.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ

[ВАРИАНТЫ К «ПОЛИКУШКЕ».]

* № 1.

После слов: Старик Семен Дутлов, стр. 22, строка 13, – в ркп I. *следует незачеркнутая, но выпущенная в ркп. II характеристика Дутлова:* <быль мужичекъ невысокой, съ кривыми отъ работы ногами, съ <раздвоенной> подстриженной полусъдой бородой и съ тонкими спокойными, но не изнуренными чертами лица. Вся фигура и одежда его носила отпечатокъ акуратности и довольства, разчетливо[сти]. Онъ былъ мужикъ степенный, молчаливый и разсудительный>. Церковный староста, который 30 лѣтъ не пилъ вина и не бранился дурнымъ словомъ, былъ мужикъ еще свѣжій несмотря на свои 56 лѣтъ – всѣ зубы были цѣлы и волосы не сѣдѣли <только плѣшивили съ середины,> и густыми прядями висѣли около лица – только по морщинкамъ звѣздочками около глазъ, вглядѣвшись ближе, можно было видѣть, что онъ не молодой парень, и больше всего по его одеждѣ. Армякъ на немъ былъ старенькой, обшитой тесемочкой и кожей на рукавахъ – новый и ладно и полно скроенный, но длинный стариковской и старика мужика богатаго и богобоязненнаго. Лапти были ужасно большіе, крѣпкіе, съ подосланнымъ цѣлымъ беремемъ соломы, но прилажены акуратно. Анучи такъ были плотно обмотаны и перетянуты веревочкой, что ни уголка ни складки нигдѣ не видать было на икрахъ, казавшихся особенно тонкими въ сравненіи съ огромными ногами въ лаптяхъ, которыя большей частью были вывернуты. Шапка была такая большущая, старая, хотя и недырявая, съ переваливающимся наверху какъ бурдюкомъ бараньимъ, какихъ ужъ молодые мужики ужъ не носятъ. Онъ былъ не подпоясанъ по армяку и безпрестанно запахывался рукой, въ которой онъ держалъ палочку, казавшуюся его непремѣннымъ атрибутомъ, хотя эту самую лутошку, передъ тѣмъ какъ идти на сходку, ему сноха выдернула изъ сосѣдняго плетня. – Лицо у него было чистое, круглое, волосы подстрижены на лбу, борода недлинная, частая. Вообще такой видъ имѣлъ Дутловъ, что, купецъ ли, прикащикъ или мужикъ, въ первый разъ встрѣтивъ Дутлова, безъ стра[ха] поручилъ бы ему свезти или сохранить сотни и тысячи рублей. Человѣкъ степенный, богобоязненный – настоящій церковный староста. Тѣмъ пора– зительнѣе было положеніе азарта, въ которомъ онъ находился.

* № 2.

После слов: по колчужкамъ дороги, стр. 27 строка 34, – в ркп. I *зачеркнуто:* Въ избѣ Дутловыхъ стояли ужъ два станка и двѣ бабы сидѣли за <пряжей> тканьемъ, одна Игнатова собирала ужинать. Старуха сидѣла въ сѣнцахъ, ожидая мужиковъ. Игнатова хозяйка была худая курносая крикливая баба, она варила и хлѣбы ставила и всегда бывала дома. Васильева молодайка была толстая глупая работница. Сама ничего не догадается, а что велишь, все сдѣлаеть, и голосу ее никогда слышно не бывало. Третья молодайка, Илюшкина, только недавно взята была изъ другой деревни, за 100 рублей куплена. Эта была первая красавица, игрунья, щеголиха и пѣсенница по всей деревнѣ. Чернобровая, румяная, съ полными загнутыми губами,

вздернутымъ носикомъ и масляными, блестящими задирающими длинными черными глазками, съ звучнымъ голоскомъ, напоминающимъ горлицу, стройная, живая, сильная <и говорить> бойкая. Немножко задира сорница, но не распутная, дурной нравственности и любящая безъ памяти своего Илюшку. Счастливая была баба. Мало того, что мужъ ее очень любилъ, что Василий съ ней все игралъ и шутилъ, такъ что его дура даже ревновать стала, что старикъ и старуха ей потакали, жалѣли ее, въ работу гдѣ полегче посылали, хоть она и ни отчего не отказывалась, сосѣди да и всѣ на деревнѣ страхъ любили Аксинью. Безъ нея хороводъ не въ хороводъ, бабы не поютъ, ребята не играютъ. Старики, бывало, не пройдутъ мимо, чтобы не пошутить съ ней. И каждому знаетъ что сказать, всякой невѣсткѣ на отмѣстку, доброму доброе, дурно[му] – такое же. Старуха свекровь была бабочка тихая, богомольная, носила бѣлый платочекъ съ черной кромочкой, всегда къ ранней обѣднѣ ходила и ко всѣмъ ласкова была. Только одну старшую нѣвѣстку не любила. Да и кто ее любилъ, окромя мужа, ядовитую бабу? Мужа она какъ будто приворожила, что хотѣла, то надъ нимъ и дѣлала. И добро бы баба хорошая была, а то грошъ цѣна, а Игнатъ то по деревнѣ первый молодчина былъ. – Орель, – косая сажень въ плечахъ, курчавой, лицо бѣлое, чистое, только сердить бывалъ часто и не разговорчивой, грубой. – И то все больше отъ жены. Кромѣ бабъ въ избѣ были еще дѣти Игната и Василья.

Окончание этого отрывка не дошло до нас, так как следующие в рукописи I листки 36 – 39 не сохранились и не были перенесены в рукопись II (копию С. А. Толстой). Дальше, на листке 40, начинается с полужазазы следующий, хотя и не вычеркнутый, но не перенесенный в рукопись II, отрывок:

двѣ тройки. «Чтожь, говорить, купите некрута, да какъ исдѣлаетъ коленцо этакимъ манеромъ – уморилъ. Я, говорить, не дорого возьму. «А что просиль?» спросилъ старикъ. Игнатъ переглянулся съ женой. И[люшка] взглянулъ на Акс[инью], которая подавала чашку съ квасомъ, «Тысячу рублей, говорить, развѣ не стою, еще, говорить, угощу покупателя такъ, что три дня не проспится. 500 рублей въ недѣлю прогуляю. Попомни жъ, говорить, спрости въ зеленомъ трактирѣ Фуфайкина Гришку». «Чтожь, Никитычъ, коли что, оброни Боже, – сказала старуха, – пропадай оно все богатство, чѣмъ дѣти – ща лишиться. Развѣ не одолѣемъ». Старикъ вздохнулъ. «На то Божья воля, – сказалъ онъ. – Къ слову говорится», – вмѣшался Игнатъ. – отъ слова не сдѣлается. Гдѣжъ намъ 1000 рублей, – онъ усмѣхнулся, – легко-ли дѣло 1000 рублей. Гдѣ ихъ возьмешь. Продай все, да хуже Шинтяка (самый бѣдный мужикъ въ деревнѣ), да и то не одолѣешь. Не мы одни, матушка, не первые, не послѣдние. Извѣстно, когда бы богачи были, какъ Ермила или что, отсыпаль бы и шабашъ». – «Что робѣть-то, – сказалъ Василий, – коли что, я пойду право, офицеромъ сдѣлаюсь, бабу въ офицершу приведу, шляпку надѣну». «Дуракъ былъ ты, дуракъ глупый и есть, – сказалъ старикъ строго». «Чему оскалешься?». «Какже ты говорилъ, – все приставала старуха, – 1000 рублей много денегъ?» «Тройку продать, вотъ и тысяча рублей», вдругъ сказалъ Илюшка. «Да поди обѣ продай, не наберешь». – «Да что жъ, ничего и не нажили мы, столько годовъ работамши». – «Нажили, тебя женили, да двухъ лошадей купили, да хлѣба на 12 душъ покупали». – «И батюшка столько годовъ жилъ, не скопилъ ничего?» – «Что скопилъ, такъ его, а не наше еще, погоди. Что было, отдали Игнату, – сказалъ старикъ, – а <теперь что есть возьми, только ста рублей нѣту> мое дѣло теперь Богу молиться, къ концу готовиться. Игнатъ знаетъ. Онъ вамъ хозяинъ, его и слушай. Да что напередъ говорить». И старикъ всталъ и сталъ креститься. «И то, – подхватилъ Василий, – дѣвку отдать, вотъ что», сказалъ онъ, толкая сестру. Аксинья вдругъ заговорила: «Ты смѣйся, шилава, ты знаешь, что безъ зубъ не возьмутъ, а онъ хозяинъ, а людямъ на смѣхъ». – «Да что тужить напередъ, что тужить, – говорилъ старикъ влѣзая на печь. – А то хозяина старшаго брата отдать. Что жъ жеребій кидать другой разъ?» – «Извѣстно, что жеребій», подхватила Аксинья. «Полно пустяки молоть то, коли идти, такъ извѣстно что мнѣ, это порядки извѣстные. Что толковать. Правду батюшка говорить, что напередъ загадывать. Бери постель, пойдемъ спать». И скоро лучина потухла въ Дутловой избѣ, но долго еще не спали ни Игнатъ съ Прасковьей <они шеп-

тались и радовались горю», ни старуха съ старикомъ. Больше чѣмъ черная кошка пробѣжала между братьями, они и жены ихъ ненавидѣли другъ друга. <Жалче всѣхъ была> Старуха не спала долго, она чуяла серд-цею, что что-то не доброе дѣлается вокругъ нее, что мужъ скрываетъ отъ нее, что хотять отнять у нее любимаго ея сына и что могли бы спасти его, коли бы хотѣли. Старикъ былъ потерянъ, денегъ у него точно не было, хозяйство было все въ рукахъ. Игната, который говорилъ, что невозможно выручить 300 рублей на рекрута, но ежели бы даже и возможно было спасти сына, разоривъ домъ, старикъ бы задумался; теперь же Игнатъ, подъ вліяніемъ котораго онъ находился, доказалъ ему, что это нельзя. Игнатъ былъ раздраженъ на брата, жена увѣрила его, что отецъ хочетъ отдать Ильѣ все и что Ильѣ съ Аксиньей подводить старшаго брата. Одинъ Ильѣ съ Аксиньей не былъ золь, онъ былъ слишкомъ молодъ и счастливъ, обнявшись лежали эти сильные здоровые молодые люди и спали спокойнымъ и счастливымъ сномъ. Когда счастье въ рукахъ, несчастью не вѣрится. Несчастье не столько въ самомъ фактѣ несчастья, сколько въ убѣжденіи, что человекъ несчастливъ. Старуха еще не знала, но ужъ она въ воздухѣ чуяла этотъ знакомый ей запахъ несчастья, ужъ она знала, что такое терять и плакать и убиваться. Ильѣ и Аксинья, напротивъ, онъ зналъ по всему, что не миновать ему идти, и рассказалъ это женѣ, но они оба не понимали того, что это значить, и старуха, проходя съ вечера въ сѣнцахъ, мимо двери клетки, постояла, послушала, какъ счастливо гогочуть голоса молодой четы, и покачала головой. А Аксинья до той поры смѣялась и щипала мужа, что и она и онъ сами не слышали, какъ заснули. –

* № 3.

После слов: хлынувшими ему в голову – стр. 50, строка 11 – в рукописи II зачеркнуто: Новый штрубъ купить, поставить рядомъ?... Нѣтъ, теперь семья меньше стала, солдатка уйдетъ, и въ одной просторно будетъ, еще тройку собрать, работника нанять. Ненадежны работники нынче, добро свои ребята сами хозяева ѣздили – а работникъ, какъ у Ермилы, въ мѣсяцъ тройку загоняетъ – хозяйское не дорого. Живой товаръ... лучше повременить... И онъ опять начиналъ считать, переводя серебро на ассигнаціи, чего онъ никакъ не могъ сдѣлать хорошенько. – В крынку дѣло то лучше будетъ. Какъ старики наши дѣлывали. Тамъ уже есть три бумажки по 25 р., да 10 по три, да цѣлковыхъ 46 – два вынулъ вчера – да золотыхъ 38 штукъ. И эти туда, а тамъ подойдетъ дѣло – купить что, взять легко, положить мудрено. Вотъ Богъ дастъ, думалъ онъ, попади жребій сыну, всѣ бы отдалъ, а теперь почитай столько еще приложу. И онъ опять считалъ, считалъ и ничего не могъ хорошенько добиться толку – все пальцевоу недоставало, и губы все шевелились, и онъ шагаль, хорошенько не разбирая куда и не оглядываясь

* № 4.

После слов: не переставала выть – стр. 53, строка 6 – в ркп. I зачеркнуто: Она была худа и блѣдна, совсѣмъ другая женщина послѣ этихъ двухъ дней. Такъ она успѣла уходить себя. «Ну, баба, вотъ гдѣ не думали не гадали», сказалъ старикъ радостно.

«Что Аксинья?» – спросила старуха. – «Её деньги точно». – Дутловъ помолился и сталъ ѣсть. – Надоумилъ меня Богъ отнестъ. Вотъ какъ Богъ даетъ намъ за добродѣтель за нашу. Да чтожъ, говорить, самые ея деньги, что Ильичъ везъ, онъ ихъ потерялъ. Дѣло то какое. Что жъ, рада небось. – Дутловъ покачалъ головой.. – Чудно. Несчастные, говорить, деньги, не нужно мнѣ ихъ, – говорилъ Д[утловъ] съ сіяющимъ лицомъ. – Счастье твое, говорить, возьми, говорить, себѣ. Всѣ. Все письмо такъ и дала. Надо М. разбудить», – сказалъ старикъ. А[ксинья]

прислушалась и завывала, завывала еще громче, какъ будто желая нарушить радость стариковъ. Дутловъ поморщился. «Перестань, право, Аксинья, – сказалъ Дутловъ, – добро днемъ, народъ слышитъ, а то что спать не даешь. Завтра поѣдемъ къ мужу проститься». – «Что онъ, мой соколикъ, волосики твои остригутъ, обрѣютъ, красоту твою погубятъ. Оооо!»²

* № 5.

После слов: сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем, стр. 55, строка 7, – *следует вариант окончания рассказа, имеющийся в обеих рукописях (в ркп. I он обрывается на словах: он остановился как останавливаются пьяные). Приводим его по ркп. II.*

Это бездѣйствіе среди работающихъ бабъ и блѣдное лицо, еще болѣе замѣтное изъ за краснаго платка и новаго сарафана, поражало больше воя. Она какъ будто ужъ распростилась со всѣми, и всѣ ужъ ей были чужіе. Старикъ велѣлъ Игнату ѣхать съ молодойкой, а самъ торопился, такъ что и не позавтракалъ, а взявъ только хлѣбушка въ полотенце, одинъ сѣлъ на кобылу и поѣхалъ. Но прежде чѣмъ ѣхать въ городъ, онъ зашелъ къ Егору Михайловичу. «Я, Егоръ Михайловичъ, хочу малаго выкупить, прикажите?» – «Чтоже, передумаль?» – «Передумаль, Егоръ Михайловичъ, жалко, братнинъ сынъ, жалко. Богъ съ ними, съ деньгами. Грѣха отъ нихъ много. Жили безъ нихъ – и проживемъ. Записочку пожалуйте». «Чтожъ, ладно, – сказалъ Егоръ Михайловичъ и написалъ ему записочку къ знакомому поставщику рекрутовъ. Только скорѣе ступай, въ 12 часовъ ставка». Напрасно говорилъ это Егоръ Михайловичъ; старикъ зналъ это и былъ весь не свой отъ безпокойства. Онъ котомъ ввалилъ въ телѣгу и всю дорогу гналъ рысью, только одну горку далъ шажкомъ выдти. Такъ что брюхо кобылы въ одно утро все пропало. Онъ пріѣхалъ не къ купцу, не къ правленью, а прямо въ синій трактиръ, къ хозяину котораго была дана записка. «Ну, что, старикъ, аль сына ставишь, – спросилъ хозяинъ. – А нашего малаго нанимали; должно нынче покончимъ. Просимъ 400 рублей, 380 даютъ. Гдѣ малый-то?» – «Еще спитъ, все гуляетъ. Ужъ 23 цѣлковыхъ пропиль. Надоѣлъ. Вотъ и мужикъ идетъ». – «Бери 400», вдругъ сказалъ Дутловъ, выставляя руку. «Что такъ? А магарычи твои?» – «Ну не грѣши, сказалъ Дутловъ. – Хозяинъ оттягивалъ руку. – Не грѣши, умирать будемъ, – повторилъ Дутловъ. Другой мужикъ подходилъ. – Ладно, чтоль? Только бѣ въ вѣрности было?» – «Ну молись Богу». Они ударили по рукамъ. Давай бумагу, бери задатокъ. Дутловъ уже зналъ всѣ порядки, прежде для своего сына совѣтовался съ писцомъ. Разбудили заспаннаго Алѣшку, онъ тотчасъ же потребовалъ рому и требовалъ, чтобы старикъ выпилъ. Но Дутловъ отказался. Дали бумаги, старикъ пошелъ къ знакомому писцу Ивану Ивановичу, привелъ его съ собой. («Батюшка И. И., ужъ ты не обмани».) И. И. сказалъ, что все въ порядкѣ, только надо въ ставку. – Старикъ пошелъ въ правленье и ждалъ у крыльца. Алешка заробѣлъ. Черезъ $\frac{1}{4}$ часа вышелъ Алешка съ хозяиномъ, солдатскій обстриженный лобъ. «Слава тебѣ, Господи», сказалъ Дутловъ и досталъ деньги. Первыя онъ отсчиталъ Ильичевы деньги и вздохнулъ легко, когда деньги эти перешли въ руки купца, потомъ пошли добавочныя цѣлк[овыя] бумажки пчельныя, плотничныя, извозныя и т. д. Эти онъ долго считалъ, наконецъ, отсчитавши, махнулъ рукой и, получивъ квитанцію отъ И. И., пошелъ на квартиру купца. Илюшка стоялъ въ комнатѣ съ хозяйкой. Онъ злобно посмотрѣлъ на Дутлова и замолчалъ. Молодая плакала, закрылась. Илюшка бойко и нагло смотрѣлъ на дядю, какъ будто онъ ужъ усвоился съ солдатствомъ. «Пріѣхалъ порадоваться, какъ за сына племянникъ идетъ?» – «Илюха, – сказалъ Дутловъ, чуть не плача, подходя, – не грѣши». – «Илюха, что ты?» Молодая уставилась. «Вотъ она». – «Кто она?» – «Квитанца!» – «Чья квитанца?» – «Илюха, виноватъ я былъ передъ

² Поперек перечеркнутого места написано крупными буквами: Эпопея ужъ стала. Илюшк. мать просить.

тобой, и ты Аксинья! Вы меня простите, Христа ради, – и старикъ поднѣлъ полу кафгана, чтобы не запачкать и поклонился имъ въ ноги, – попуталъ меня бы нечистый, да спасибо, я въ чувства пришелъ, пропадай они, пропадай деньги эти». – «Что ты, батюшка, что ты?» И они поднимали его, хотя и не понимая въ чемъ дѣло, но чувствуя, что старикъ былъ откровененъ съ ними. «Я купилъ некрута и поставилъ его, вотъ она!» Илюшка долго не зналъ, что сказать. Но тутъ мать его, узнавъ новость отъ Игната, вбѣжала и бухнулась на шею сыну. «Родный ты мой, – завопила она, – слава тебѣ Господи, выкупилъ онъ тебя. Спаси его Христось», И они всѣ стали въ ноги кланяться ему, – «Вѣкъ тебѣ слуга, рабъ твой,³ что хочешь изъ меня дѣлай». Старикъ плакалъ и не зналъ, что сказать. Имъ тѣсно было съ своей радостью въ избѣ, они пошли на дворъ, купецъ похвалилъ даже. «Что, братъ, деньги, такого малаго не купишь за деньги». Илюшка горѣлъ, закладывая лошадь, но наконецъ все устроилось, и они поѣхали. Штофчикъ водки не забыть было, куплень, и выпито немного. Кобыла оправилась, въ задкѣ сидѣла молодайка, старикъ съ Ильей и его братомъ лежали въ серединѣ, мальчишка правилъ, мать съ Игнатомъ ѣхали сзади. Отъ водки ли, отъ радости, только имъ казалось, что ихъ сотни въ телѣгахъ, и голоса ихъ были такъ громки. Баранки высывались. Проѣзжая мимо одного домика, они замѣтили рекрутовъ и солдатъ кружкомъ и одного рекрута пляшущаго съ штофомъ водки въ рукахъ; онъ плясалъ ловко. Илья остановился; рекрутъ чувствовалъ, что на него смотрятъ, и это придавало ему силы, но не видалъ никого. У него брови были нахмурены, и пьяное лицо было напряжено, только ротъ остановился въ улыбку, балалайка трепала, а онъ заботился, чтобы то на каблукѣ то на носкѣ; мальчишки тутъ же были, помиралъ со смѣху, большіе серьезно любовались. Хозяинъ тоже стоялъ съ видомъ, что вамъ это в диковину, а я знаю твердо. Онъ узналъ Дутлова. «Вотъ мужикъ, за котораго пошелъ», сказалъ онъ. Алѣшка остановился. «Гдѣ? Алѣшка, другъ любезный, – закричалъ онъ и побѣжалъ къ телѣгѣ. – Хозяинъ, водки». Онъ всѣхъ угостилъ виномъ, бабы не пили. «Хозяинъ, пряниковъ». Баба съ пряниками пришла. Они схватили весь латокъ. Баба закричала. «Не бось, заплачуу! – и высыпалъ его въ телѣгу. – А матушка которая?» – «Эта». – «И ей пожертвую. Хозяинъ, дай полотенце». – Два полотенца и платокъ ку[пи]лъ. «На тебѣ. Вотъ». Онъ остановился, какъ останавливаются пьяные, какъ будто вспомнилъ гдѣ онъ, и что онъ. «Вотъ вамъ. И Алѣшка пропадетъ – не пропадетъ Алѣха». «Спасибо, родные, зачѣмъ это, спасибо, вишь простой малый какой». «А что, матушка есть у тебя? Какъ звать-то тебя?» «Алехой. Матушка, – онъ засмѣялся ужасно, – матушка есть. Вотъ за васъ я иду, вотъ я васъ одарилъ, только вы для меня сдѣлайте ради Христа Божескую милость. Поѣзжай ты въ село Водное, и тамъ спреси старуху Аниканову – такъ спреси, и скажи ты старухѣ этой самой, что моль Алѣха твой, значить А...ле...ха! Нѣтъ, не говори ничего, – голосъ его задрожалъ, – музыканъ валяй!» Онъ сталъ плясать ловко, стучая. «Прощай, дай Богъ тебѣ», заговорили Дутловы. «Уѣзжайте вы къ дьяволу». – «Охъ! – заговорила старуха, – что ты!» – «Пошли, что стоите, пошли, пошелъ!» Илюхъ что то загорѣлось, онъ погналъ во весь духъ, телѣги застучали. «Пошелъ, – стиснувъ зубы кричалъ Алѣха, – я васъ, міроѣды, лапотники, черти». И съ этими словами онъ перешелъ въ плачь, въ вой и, какъ стоялъ, ударился объ землю и заревѣлъ. А Дутловы остановили шагомъ, водка дѣйствовала, Илья запѣлъ, бабы подтянули. И тройка проѣхала, красныя лица, платки, прозвучала пѣсня, прокричали они на ямщика, и ямщикъ поддалъ поглядывая, а чиновникъ посмѣивался. Старикъ дремалъ. Дѣти ликовали.

³ Слова: Вѣкъ тебѣ слуга, рабъ твой, добавлены из ркп. I, так как в ркп. II они не были разобраны переписчиком, и для них было оставлено пустое место.

**** [ИДИЛЛИЯ.]**
[ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ]
оно заработка хорошо, да и грѣхъ бываетъ отъ того.

1.

<Петръ Евстратычъ теперь большой человекъ – управляющій. Легко сказать, надъ двумя деревнями начальникъ, какъ баринъ, повелѣваетъ. Одинъ сынъ въ купцахъ, другой чиновникъ, за дочью, сказываютъ, 5 000 приданого далъ; да и самъ живетъ въ холѣ, какъ баринъ, каждый годъ деньги въ Москву посылаютъ. – А такой же нашъ братъ – изъ мужиковъ взялся, Евстрата Трегубова сынъ. Да и не Евстрата сынъ оно; вѣдь только по сказкамъ числится Евстратовымъ сыномъ, а настоящее дѣло вотъ какъ было. – Извѣстно, чей бы бычокъ не скакалъ, а теля то наше.

И мудреное дѣло, какъ этотъ грѣхъ случился. Не мало въ тѣ поры народъ дивовался. Тогда народъ проще жилъ, и такія дѣла за чудо были.

Бабушка Маланька, Петра Евстраточа мать, и теперь жива, съ братомъ Ромашей живетъ. Сынъ къ себѣ сколько звалъ – не хочетъ. Я, говоритъ, мужичкой родилась, мужичкой и помру, грѣха меньше; куда силишка есть, брату подсобляю, внучатъ покачаю, кое что по домашнему приберу; а Петруша сильный сталъ, съ сильными грѣха больше. Такъ и живетъ, отъ сына гостинцы получаетъ, благословенье ему въ письмѣ посылаетъ, и радость ея вся, что въ праздникъ бѣленькимъ платочкомъ повяжется, чистенько приберется, костыликъ возьметъ, къ ранней обѣдни сходить, а послѣ полдней кого грамотнаго зазоветъ къ себѣ, велитъ бумажку почитать. На бумажкѣ сонъ пресвятой дѣвы Богородицы списанъ, ей богомолочка проходящая пожертвовала; а ужъ пуще всего любить, кто ей псалтырь почитаетъ. Въ милостынѣ тоже у ней отказа нѣтъ, и переночевать всякаго человека пустить, и къ усопшему сама безъ зову идетъ. Зато-то бабушку Маланьку, не за сына, а за добродѣтель ее, и старый и малый въ деревне, всѣ теперь почитаютъ.

Что молодость то значить. Теперь бы бабушка Маланька сама себя не узнала, какой она была лѣтъ 40 тому. Тогда ее не бабушкой звали, а – Маланька Дунаиха, за то что она первая хороводница, плясунья, игрица первая по деревнѣ была. Худаго за ней и тогда, до этаго случая, ничего не было, только веселая бой-баба была. Изъ деревни она была не изъ нашей, а изъ Малевки, сосваталъ ее Евстратовъ отецъ за сына, по знакомству ли, или что невѣсть своихъ не было, только чужая она. Старикъ еще въ порѣ былъ, на сына другую землю принялъ и жилъ исправно; лошадей головъ 8 было съ жеребятками, двѣ коровы, пчелки были (и теперь у нихъ ведется та же порода). Барщина была по Божьему, мѣки не было; свекровь хозяйка настоящая была, одна за троихъ работала; кромѣ того солдатка, ихняя сестра, съ ними жила, подсобляла. Такъ что молодайка нужды не видала.>

По старинному порядку, выдали ее замужъ⁴ 15 лѣтъ. Она была дѣвочка. Въ первое время, когда она, бывало, несетъ съ солдаткой ушатъ воды, то качается, какъ лозинка. И мужа своего совсѣмъ не любила, только боялась.⁵ Когда онъ подходилъ къ ней, она начинала плакать, щипать и даже кусать его. Такъ что первое время всѣ плечи, всѣ руки у него были въ синя-

⁴ Зачеркнуто: молодою, вовсе дѣвочка, несмысленко была, годочковъ 14, и силъ вовсе не было. На груди занавѣску гдѣ хочешь пережежи, какъ скатерть на столѣ – вовсе ребенокъ была. Понесетъ бывало

⁵ Зачеркнуто: А акуратненькая, чернобровинькая бабочка была, только <молодость еще> молода.

кахъ. Таки она не любила его два года. Но такъ какъ баба она была красивая и смиренная и из дому хорошаго, то ее не принуждали къ тяжелой работѣ, и она понемножку, года через три или четыре, стала выравниваться, повзросла, раздобрѣла, раздумянилась, перестала бояться – стала привыкать, привыкать, и такъ наконецъ привыкла къ мужу, что плакала, когда отецъ его въ городъ усылалъ.⁶ Вошолъ къ нимъ въ избу разъ шутникъ Петра и говорить:

– Вишь, по комъ воешь, конопатаго чорта-то какъ жалѣешь.

И хотѣлъ онъ съ ней поиграть.

– Конопатый, да лучше тебя, что ты чистый. А вотъ что тебѣ отъ меня будетъ, – сказала она и ткнула его пальцемъ подъ носъ.

<Да и баба же стала на всѣ руки. Въ праздникъ уберется въ ленты, галуны, выйдетъ на улицу – (краля изо всѣхъ бабъ молодайка, Ермилины жили богато и изъ дому то было и мужъ гостинцы приваживалъ) какъ купчиха какая – глаза свѣтлые, брови черные, лицо бѣлое. Войдетъ въ хороводъ съ платочкомъ Борша водить, или ленту сниметъ, плясать пойдетъ, языкомъ прищелкиваетъ, такъ ажъ пятки въ⁷ спину влипаютъ – картина; – >

Бывало, пройти ей нельзя, всякой поиграть хочетъ, старики и тѣ приставали. Со всѣми она смѣялась, а мужу вѣрна была, несмотря на то что мужа часто дома не бы[вало]. И въ работѣ первая опять баба она была, въ покосъ ли, въ жнитво-ли ухватку себѣ имѣла, что впереди всѣхъ, бывало, всѣхъ замучаетъ, а домой идетъ, пѣсни поетъ, передъ хороводомъ пляшетъ. <Свекоръ съ свекровью не нарадуются на сноху, что настоящая баба стала, только скучали, что Богъ дѣтей не даетъ.—>

– Что не рожаешь, буде гулять-то, – скажетъ, бывало, старуха.– Порадовалась бы, хоть внучку бы покачала, право.—

– А развѣ я бы не рада, скажетъ, ужъ и то людей стыдно. Намеднись и то изъ церкви ребяtnицы прошли, молитву принимали, всего второй годъ замужемъ, а ужъ дѣти. Такъ у тѣхъ, небось, мужья дома живутъ.

Какъ вспомнить про мужа, опять завоетъ, начнетъ причитать. Извѣстно, годъ, другой погулять бабѣ не порокъ, ну а какъ баба то рая, а дѣтей не рожаетъ, и народъ смѣяться станетъ. <Отъ этого то Маланькѣ пуще тошно было, какъ свекоръ мужа усалъ. Старикъ старинный мастеръ былъ по колесной части и хорошихъ людей зналъ. Какъ Евстратка понялъ, его отецъ и сталъ посылать на заработки. А въ это самое лѣто, какъ грѣхъ то случился, и вовсе его отдалъ за 100 верстъ до самаго Покрова, а себѣ работничка нанялъ. Сына то за 120 рублей отдалъ, а работнику всего 32 рубля да рукавицы далъ, такъ извѣстно разсчитать.> Скучно ей было безъ мужа. Дѣло молодое, рабочее, баба въ самой порѣ, жили же исправно и мясо ѣли – тотъ пристаесть, другой пристаесть, а мужа почти полгода не видать. <И пѣсня поется: «Безъ тебя, мой другъ, постеля холодна». Придетъ ввечеру домой <сердешная>, поужинаетъ, схватитъ постелю да къ солдаткѣ въ чуланъ. Страшно, говорить, Настасьюшка, одной. Да еще все просится къ стенкѣ, а то все, говорить, чудится, что вотъ вотъ – схватить кто меня за мои ноженки.

2.

<Между тѣмъ дѣломъ подошли покосы.> Петра и Павла отпраздновали, платки, сарафаны, рубахи дорогіе попрятали бабы по сундучкамъ, а то пошли опять на пруду вальками

⁶ Зачеркнуто: такъ взывала, какъ по матери родной убивалась. «Что, говорю, воешь, – какъ то я къ свекору ее зашелъ въ то время, вижу заливается баба. – Вишь какого добра не видала, – говорю, – конопатаго чорта-то». Я пошутилъ (онъ точно конопатый, не хорошій изъ себя былъ, только силенъ ужастъ былъ и мужикъ добрый), «какого добра не видала», пошутилъ я ей, значитъ. Такъ какъ вскинется на меня.

⁷ Зачеркнуто: жопу.

стучать, гости разѣхались, цѣловальникъ одинъ въ кабацѣ остался, мужики похмелились, у кого было, кто съ вечеру, кто поутру косы поотбили, подвязали брусницы на обрывочки и, какъ пчелы изъ улья, повысыпали⁸ на покосы. Повсюду по лощинамъ, по дорогамъ, заблестѣло солнушко на косахъ. Погода стояла важная; до праздника дни за три мѣсяцъ народился погожій – серпъ крутой. Обмылся мѣсяцъ, и пошли красные дни. Покосы время веселое; и теперь весело, а встарину еще лучше того было. Разрядются бабы, съ пѣснями на работу, съ пѣснями домой. Другой разъ, ночи короткія – винца возьмутъ, всю ночь прогуляютъ. – <Маланька впереди всѣхъ, что въ хороводѣ, что на работѣ. Гогочетъ, заливаается, съ мужиками смѣется, съ прикащикомъ смѣется, барина и того не оставила, а близко къ себѣ никого не пушаетъ. – >

Пришелъ сейчасъ послѣ Пасхи староста повѣщать <еще зорька только занимается>. Старостой тогда Михеичъ ходилъ, молодой былъ, и своя хозяйка первая еще жива была: только іорникъ насчетъ бабъ былъ. И мужчина бѣлый, окладистый, брюхо наѣлъ, въ сапогахъ, въ шляпахъ щеголялъ. Приходить въ избу, одна Маланька не одѣвши, босикомъ, дома была, въ печи убиралась, старикъ на дворѣ съ работникомъ на пахоту убирался, старуха скотину погнала, а солдатка на прудъ ушла. Сталъ къ ней приставать.

– Я тебя и на работу посылать не стану.

– А мнѣ что работа? Я, – говоритъ, – люблю на барщину ходить. На народѣ веселѣй. А дома, все одно, старикъ велитъ работать.

– Я, – говоритъ, – тебѣ платокъ куплю.

– Мнѣ мужъ привезетъ.

– Я мужа твоего на оброкъ выхлопочу, – въѣдъ ужъ я докажу прикащику, такъ все сдѣлаю.

– Не нужно мнѣ на оброкъ. Съ оброка то голые приходятъ.

– Чтожъ, – говоритъ, – это такое будетъ; долго мнѣ съ тобой мучиться? – оглянулся, что никого въ избѣ нѣтъ, да къ ней.

– Мотри, Михеичъ, не замай! – какъ схватить ухватъ, да какъ огрѣть его. А сама смѣется.

– Развѣ можно теперь? вотъ хозяинъ придетъ. Развѣ хорошо?

– Такъ когда жъ, съ работы?

– Ну, извѣстно, съ работы. Какъ пойдетъ народъ, а мы съ тобой въ кусты схоронимся, чтобъ твоя хозяйка не видала.

А сама на всю избу заливаается, хохочетъ.

– А то, моль, разсерчаетъ твоя Марфа-то, старостиха.

Такъ что и самъ не знаетъ староста, шутить ли, или смѣется. А тутъ старикъ вошелъ обуваться, а она все свое, и свекора не стыдится. Нечего дѣлать, повѣстилъ, какъ будто затѣмъ только приходилъ – бабамъ сѣно⁹ грестъ въ заклахъ, мужикамъ возить, — и пошелъ съ палочкой по другимъ избамъ. — Кого и не слѣдуетъ, всѣхъ¹⁰ пошлетъ; кто и винца поставитъ, и то мало спуска даетъ, а Маланьку безо всего, или вовсе отпустить, или выбираетъ, гдѣ полегче. Только она за это ничего ему не покорялась, а все смѣется, приду – говоритъ. То же и съ другими. Мало ли ей въ это лѣто случаевъ было. Да и сама она говаривала. Никогда такого лѣта не было. Сильная, здоровая, устали не знала, и все ей весело. — Уберется, выйдетъ на покосъ, ужъ солнышко повзойдетъ изъ за лѣсу около завтрака, пойдетъ съ солдаткой, пѣсню заиграетъ. Идетъ разъ такимъ манеромъ черезъ рощу – покосъ на Калиновомъ лугу былъ. – Солнышко вышло, день красный, а въ лѣсу еще холодокъ стоитъ, роса каплетъ, птицы заливаются, а она пуще ихъ. Идетъ, платокъ красный, рубаха шитая, босикомъ, коты на веревочкѣ, только бѣлыя ноги блестятъ да плечи подрагиваютъ. Вышли на поле, мужики господскую пахутъ. Много мужиковъ, сохъ 20 на 10 десятинахъ. Гришка Болхинъ ближе къ дорогѣ былъ, – шутникъ, мужикъ, –

⁸ В подлиннике: посывыпали

⁹ В подлиннике: сѣномъ

¹⁰ В подлиннике: всѣми

завидѣль Маланью, завернулъ возжу, подошелъ поиграть, другіе побросали, со всѣми смѣется. Такъ до завтрака пробалаясничали бы, кабы не прикащикъ верхомъ.

– Что вы, сукины дѣти, такіе сякіе, короводы водить.

Рысью на нихъ запустилъ, такъ пашня подъ копытами давится, грузный человекъ былъ.

– Вишь бляди, въ завтракъ на покось идуть. Я васъ.

Да какъ Маланьку признать, такъ и сердце прошло, самъ съ ней посмѣялся.

– Вотъ я, – говоритъ, – тебя мужицкій урокъ допахать заставлю.

– Чтожъ, давай соху, я выпашу проти мужика.

– Ну буде, буде. Идите, вонъ еще бабы идуть. Пора, пора грестъ. Ну, бабы, ну.

Совсѣмъ другой сталь.

Такъ, какъ пришла на лугъ, стали порядкомъ, какъ пошла передомъ ряды раскидывать, такъ рысью ажно, смѣется прикащикъ, а бабы ругаютъ, что чортъ, замучала. Зато какъ пора обѣдать ли, домой, ужъ всегда ее къ прикащику посылаютъ; другіе ворчатъ, а она прямо къ начальнику, что, моль, пора шабашить, бабы запотѣли, али какую штуку отмочить, и ничего. Разъ какая у ней съ прикащикомъ штука приключилась. Убирались съ покосами, стогъ кидали, а погода необстоятельная была, надо было до вечера кончить. За полдень безъ отдыха работали, и дворовые тутъ же были. Прикащикъ не отходилъ, за обѣдомъ домой посылалъ. Тутъ же, подъ березками, съ бабами сѣлъ. Только пообѣдалъ, – что, говоритъ, ты, кума Маланья, – онъ съ ней крестиль; – спать не будешь?

– Нѣтъ, зачѣмъ спать.

– Поди ка сюда, поищи мнѣ въ головѣ, Маланьюшка.

Легъ къ ней, она смѣется. Только бабы позаснули, и М[аланья] то задремала; глядѣла, глядѣла на него, красный, потный лежитъ, и задремала. Только глядь, а онъ поднялся, глаза красные выкатилъ, самъ какой то нескладный.

– Ты меня, – говоритъ, – приворотила, чертова баба.

Здоровый, толстый, схватилъ ее въ охапку, волочетъ въ чашу.

– Что ты, – говоритъ, – Андрей Ильичъ, нельзя теперъ, народъ проснется, срамъ, приходи, – говоритъ, – лучше послѣ. Отпусти раньше народъ, а я останусь.

Такъ и уговорила. А какъ отпустилъ народъ, она впередъ всѣхъ дома была. Сказывалъ парнишка, Андрей Ильичъ долго все за стогомъ ходилъ. – И это ея первая охота была, что всякаго обнадежить, а потомъ посмѣется. Такъ-то, какъ пріѣхалъ баринъ въ самые Петровки, былъ съ нимъ камердинъ – такая бестія продувная, что бѣда. Самъ, бывало, рассказываетъ, какъ онъ у барина деньги таскаетъ, какъ онъ барина обманываетъ. Да это бы все ничего, только насчетъ <бабъ ужъ такой подлый, что страхъ>. Сбирались его тогда мужики побить, да и побии бы, спасибо, скоро уѣхалъ. А изъ нашего же брата. Полюбилась ему Маланька, сталь тоже подѣзжать, рубль серебра давалъ, синенькую, красенькую давалъ.

– Ничего, – говоритъ, – не хочу.

Такъ на хитрости поднялся. Старосту угостилъ что-ли, стакнулся съ нимъ. Весной еще было – молотили, темно начинали.

– Я, – говоритъ, – полѣзу на скирдъ, а ты и пошли скидать одну. Тамъ моя будетъ.

– Ладно.

Только влѣзла она на скирдъ, онъ къ ней.

– Постой, – говоритъ, – тутъ не ловко.

Взяла, снопы раскидала, яму сдѣлала да его туда и столкни а сама долой, лѣстницу сняла да на другой скирдъ, раскрыла, подаетъ. Разсвѣло ужъ, такъ сказала, – то-то смѣху было. Бабы сбѣжались, партки съ него стащили, напихали хаботья и опять надѣли. Такъ все не пронялся, все старосту просилъ ее въ садъ посылатъ дорожки чистить. Тутъ то на нее баринъ наткнулся. И не слышать за нимъ этаго прежде было. Видно, ужъ баба то хороша была. Только, – рассказывала сама, – смотрю, идетъ баринъ, дурной, худой такой, чудно какъ-то все на немъ. Прошелъ,

я за работу, скребу; только хотѣла отдохнуть, смотрю – опять по дорожкѣ идетъ. Дорожки тамъ густыя, крытыя. Ну, думаю, по своему дѣлу гуляетъ. Только покосилась на него, такъ и впился въ меня глазами. Такъ до обѣда покою не давалъ, все ходить, смотреть. Такъ измучалась, что бѣда, на покосѣ легче. А не подходить. Баринъ то, видно, такъ на нее глядитъ, извѣстно, госпо- дамъ, дѣлать нечего, а она думаетъ, за работой смотреть, такъ старается, что одна всю дорожку выскребла. Только хорошо, идетъ этотъ камердинъ опять къ ней.

– Барину, – говорить, – ты дюже полюбилась, велѣлъ придти вечеромъ въ ранжерею.

Ладно, думаетъ, это все твои штуки: приду, дожидайся.

– Мотри же.

– Сказано, приду.

Вечеромъ взяла скребку, пошла домой; только думаетъ, что и въ самомъ дѣлѣ баринъ, пожалуй, звалъ. Зазвала солдатку, задами полѣзли къ ранжереѣ, смотреть – ходить. Солдатка какъ закричить по мужицки, такой голосъ она умѣла дѣлать:

– Кто тутъ?

Баринъ бѣжать. Бабы смѣялись, смѣялись, пришли домой, покатываются – всѣмъ рассказали. На другой день опять въ садъ посылаютъ. <Только поваръ пришелъ, говорить: такъ и такъ, ты вѣрно камердину не вѣришь, такъ онъ меня прислалъ. Что взаправду онъ тебя хочетъ и непременно велѣлъ приходить.

– Ладно, я, – говорить, – думала, что камердинъ, такъ пошутила, испугать хотѣла, а теперь приду.

Какъ работу кончила, такъ прямо въ домъ да на дѣвичье крыльцо.

– Чего, моль, тебѣ?

– Баринъ велѣлъ.

Вышла барыня.

– Чья ты? – говорить, – какая ты, – говорить, – хорошенькая. Зачѣмъ тебя баринъ звалъ?

– Не могу знать.

Вызвали барина, красный весь пришелъ.

– Приди, – говорить, – послѣ съ отцомъ, а мнѣ теперь некогда.

А то разъ днемъ къ ней подшелъ, такое началъ говорить, что она не поняла ничего. Только хотѣлъ ее за руку взять, она какъ пустится бѣжать, и ушла отъ него>.

Такъ-то она гдѣ хитростью, гдѣ обманомъ, а гдѣ силой. Разъ поставили солдатъ къ нимъ въ избу. Извѣстно, всѣ вмѣстѣ спать легли. Почти рядомъ. Съ вечера юнкеръ, изъ господъ чтоли, свекора напоилъ; какъ потушили свѣчу, полѣзъ къ ней. Такъ она его такъ огрѣла, что хотѣли жаловаться, чуть глазъ не выбила ему. А то другой разъ офицеръ стоялъ, такъ тоже общала, да замѣсто себя ночью солдатку подсунула.

3.

Такъ-то она никому спуску не давала. Мало того: кто къ ней не пристаеетъ, такъ она сама пристанеетъ – раздражить да и посмѣется.

– Не одобровать тебѣ, повѣса, наскочишь, – бывало, скажешь ей.

– А чтожь, – скажеть, – коли они меня любятъ, развѣ я виновата. Чтожь, плакать что ль. Отчего не посмѣяться.

<Жиль у нихъ въ это лѣто работникъ, Андреемъ звали, изъ Телятинокъ онъ былъ, Матрюшки Короваихи сынъ. Теперь онъ большимъ человѣкомъ сталъ; а тогда бѣднѣ ихъ двора по всей окружности не было. Отъ бѣдности отдали малаго, а сами Богъ знаетъ какъ перебивались. – <Андрюшка тогда былъ вовсе мальчишка, годовъ 16, 17. Длинный, худой, вытянулся, какъ шалашъ, куда хочешь шатни, силишки вовсе не было. И какъ онъ работаль, Богъ его зна-

еть, изъ послѣднихъ силъ выбивался. Малый же старательный, смирный. Хозяина пуше становаго боялся. Да и всякаго старшаго мужика уважалъ. Бывало, въ праздникъ, чужой за виномъ пошлетъ – бѣжить, старается. А ужъ съ бабами или дѣвками – ну да дѣвки у насъ какія – поиграть, этаго отъ него никогда невидно было. Какъ красная дѣвушка зарумянится и сказать въ отвѣтъ ничего не умѣетъ, коли съ нимъ баба пошутитъ. Лицомъ, правда, чистый, акуратный былъ, глаза свѣтлые, волосы русые,¹¹ ну да все какой красавецъ – такъ, работникъ мальчишка— армячишка платаный, рубашенка посконная, въ дыряхъ, шляпенку какую то у ямщиковъ старую вымѣнили – босикомъ али въ лаптишкахъ, и тѣ самъ сплель – вся и обувь была. Такъ вѣдь и работнику лядашему покоя не дала, совсѣмъ одурила малаго. – Онъ самъ сказывалъ:

– Пришелъ я, – говорить, – въ домъ, боюсь, страхъ. Хозяинъ ничего, указалъ все, велѣлъ, чтò работать; когда на барщину пошлетъ, когда съ собой возьметъ; косить или чтò не принуждаетъ, пожалѣетъ; что самъ ѣстъ, то и мнѣ дастъ; старуха тоже молочка другой разъ дастъ; попривыкъ къ нимъ, только молодайки пуше всѣхъ боялся. Богъ ее знаетъ, чего ей отъ меня нужно было. Запрягать ли начну, или за соломой на гумно скотинѣ пойду, подскочитъ, вырветъ изъ рукъ. «Вишь, – говорить, – телятинскій увалень, коли поворотится, коли чтò». И сама начнетъ, да такъ-то живо, скоро все сдѣлаетъ, засмѣется, уйдетъ. А то за обѣдъ или за ужинъ сядемъ, боюсь все чего-то, глазъ не поднимаю; гляну на нее, а она все на меня косится, подмигнетъ другой разъ, смѣется. А то пройдетъ, ущипнетъ, а сама какъ ни въ чемъ не бывало. Пойдутъ съ солдаткой на амбаръ спать.

– Андрюшка, а Андрюшка! – слышу, зовутъ. Подойду.

– Чего?

– Кто тебя звалъ?

И заливаются, смѣются.

Проснулся разъ, въ саняхъ на дворѣ спалъ, что бабы помираютъ, смѣются, на меня глядя.

– Заспался, – говорятъ, – поди, хозяинъ зоветъ.

Пошелъ.

– Что ты, – говорить, – измазался, хоть помойся, табунъ шарахнется, настоящій чортъ; на, поглядись въ зеркальце.

Всего сажей испачкали. – Поѣхали разъ за сѣномъ въ Кочакъ, хозяинъ послалъ, съ бабами. Только сгребли въ валы, копнить стали. Баба такъ и кипитъ, подпрыгиваетъ съ вилками, пуда по 3 на граблю захватитъ, и Андрюха съ ними. Только скопнили послѣднюю, жарко, мочи нѣтъ, запотѣли, Андрюха навилину послѣднюю положилъ, влѣзь на копну, топчетъ.

– Что ты, – говорить, – Андрюшка, никогда съ бабами не играешь?

– Нѣтъ, чего играть, копнить надо.

– И не знаешь, какъ?

– Не знаю.

– Хочешь, я поучу?

Онъ молчитъ. Схватила его, повалила подъ себя и ну мять, а солдатка на нихъ сѣна навалила да сама навалилась.

– Мала куча, – кричить.

Андрюха вывернулся изъ-подъ нея, ухватилъ¹² за голову и ну цѣловать, такъ осмѣлился. Такъ разсерчала.

– Вишь сволочь, работничка, цѣловаться лѣзетъ губищами своими погаными.

Вскочила, такъ засрамила, что бѣда. Малый совсѣмъ ошалѣлъ. Пришелъ домой, ничего не понимаетъ, что хозяинъ велитъ. Хозяинъ любилъ его, такой малый смирный, усердный, что поискать.

¹¹ Зачеркнуто: и пѣсни играть гораздъ былъ,

¹² В подлиннике: ухватила

– Что, моль, съ Андрюхой сдѣлалось, ужь не умираетъ ли?

– Какъ же, умираетъ, онъ все съ бабами играетъ. Пора умирать гладуху такому въ самую рабочую пору. Вотъ и я умирать стану.

Пуще малаго засрамила, что хотъ бѣжать, мочи ему не стало. Приворотила его совсѣмъ послѣ этаго раза, что какъ бы только посмотрѣть на нее, а самъ боится пуще начальника какого. – Боится, а ночи не спитъ, днемъ не спитъ, все за ней ходитъ. Разъ на покосѣ, у Воронки, вмѣстѣ мужики и бабы были, косили заклы, а бабы гребли на Калиновомъ лугу. Пошли бабы купаться въ обѣдъ и мужики тоже; мужики съ одной стороны, бабы с другой стороны рѣки. Тишка шестипалый, даромъ что женатый, шутникъ былъ, подплылъ къ бабамъ, началъ топить Маланьку.

– Платокъ замочу, – кричить, – брось, брось, чортъ, чуть не захлебнулась.¹³

Откуда ни вывернулся Андрюшка, да къ Тишкѣ:

– Что ты ее топишь?

Подрались было. – Какъ завидитъ, М[аланья] купаться пойдетъ, залѣзетъ въ камыши, смотреть. Разъ его бабы застали, повыскочили изъ воды, такъ въ рубахѣ въ воду втащили. Совсѣмъ одурѣлъ малый, только пища то не очень сытная, чаемъ не поили, да и работа день деньской, а какъ вечеръ, такъ въ ночное [съ] старикомъ, такъ некогда о пустякахъ то думать было. – Особенно съ того раза, <какъ> послѣ покоса то она его осрамила, ничего ужь онъ съ ней не говорилъ. Чтѣ бы не дѣлала, не буду, говоритъ, виду показывать. Хорошо. Погода всѣ покосы въ этотъ годъ стояла важнѣйшая. Не сѣно, а чай убирали; накануне скосятъ, а на другой день въ валы гребли.¹⁴ Барское все убрали, и свое мужички посвозили, – тогда угодей много было, – возовъ по 6 на брата привезли, и еще дальнѣй покосъ въ роцѣ оставался воза по два, да еще подрядилъ дворникъ нашу барщину изъ-полу убрать казенные луга. Онъ ихъ нанималъ. Барщина у насъ большая была, и затяглыхъ много. Взались такіе, у которыхъ лишнѣй народъ былъ. У старика Евстратова работникъ былъ да солдатка, такъ самъ съ старухой на барщину ходилъ, а Андрюху съ М[аланьей] послалъ къ дворнику. Версть за 9 отъ деревни дворниковъ покосъ былъ. Собралось косъ 20. Накануне еще мужики пошли, скосили, на другой день бабы прѣхали; заложили телѣги, забрали хлѣба, квасу, огурцовъ, котелочки, крупъ и поѣхали на недѣлю. Всю дорогу пѣсни,¹⁵ смѣхи; бабы, мужики челоуѣкъ по 10 въ телѣгу насѣли. Андрюха своего хозяйскаго пѣгаго меренка заложилъ – первая лошадь въ деревнѣ была (и теперь заводъ этотъ у нихъ ведется). Уложилъ косы, у другихъ ребятъ взялъ, бабы – грабли, котелки, сѣлъ съ бабами, какъ князь съ княгиней ѣдутъ. Даже народъ смѣется. Выѣхали на большую дорогу. Сталъ¹⁶ народъ перегоняться. М[аланья] говоритъ:

– Пошелъ!

– Хозяинъ не велѣлъ.

– Вишь попь какой. Валяй!

– Смотри, я отвѣчать буду, а не ты.

– Ну, пошелъ!

Вырвала у него возжи.

– Ну, сама дѣлай.

Взялъ слѣзъ, пошелъ пѣшкомъ. Такое сердитое лицо сдѣлалъ.

Какъ прѣхали мужики – изъ себя же старосту выбрали – показали мѣсто, живо лошадей поотпрягли, поспутали, ящики посняли, загородили, деревья понагнули, шалашики подѣлали, сѣномъ покидали, пошла работа. Андрей приходитъ.

¹³ Зачеркнуто: Просто это было въ старину. Ну а Андрюха ни за что при бабахъ раздѣваться не станеть, все стыдится. – Только

¹⁴ Поперек рукописи от слова: Особенно до: гребли, написано: Андрюха рѣшился сердать

¹⁵ В подлиннике: пѣсно

¹⁶ В подлиннике: стали

– Гдѣ, – говорить, – меринь?

– А я почемъ знаю? Развѣ я работница? Ты бы ломался.

Что съ бабой говорить. Махнувъ рукой, пошелъ у мужиковъ спрашивать. Нашель, спуталь. Обидѣлась М[аланья], ничего не сказала. Постой, я те вымещу, думаетъ. Пошла работа: бабы въ валы гребутъ, пѣсни поютъ. Мужики за ними копняютъ вилами. Старикъ дворникъ прѣѣхаль, шутить съ народомъ.

– Пожалуйста, братцы, постарайтесь, – говорить, – погода не устоитъ, вамъ же хуже.

– Винца полведра поставь.

– Ладно, – говорить.

Такъ любо-дорого смотрѣть, какъ работа пошла. Въ обѣдъ полчаса вздохнули, опять за дѣло. На барщинѣ того бы въ три дня не сработали. Весело, дружно. Одному только Андрюхѣ пуще другихъ дней тошно.¹⁷ Разсчитать возьму, думаетъ,¹⁸ пойду къ матушкѣ, скажу – на дорогѣ наймусь. А самъ все на Маланью смотреть. – Подъ горой, видать, она передомъ по косоугору идетъ, и ногой и граблей подкидываетъ сѣно, въ два аршина загребаешь, сама пѣсню поетъ, а нето гогочетъ, на всю рощу заливается. На него и не посмотреть ни разу. Еще ему тошнѣй того. Нѣтъ, бросить надо, думаетъ себѣ, не тотъ я человекъ. Пришли къ телѣгамъ, ужъ темно, поужинали, винца выпили. Маланья Андрюшкѣ слова не сказала. Которые старше, спать полегли. Бабы по стаканчику выпили, такъ– то раскуражились, что и спать не хотятъ. Стали хороводы водить. Старикъ дворникъ съ ними; еще за виномъ послали. Андрюхѣ грустно еще пуще того: все народъ богатый, да и свои, а онъ чужой, работникъ; вино же онъ не пилъ и привыкать не хотѣлъ. Взялъ армячишко, ломоть хлѣба отломилъ, пошелъ въ сторону на копну, у березы стояла. Сѣно не готово еще было. Сгребли только отъ росы, – завтра разваливать опять хотѣли, на погоду глядя. – Сѣно сырое, зеленое еще, пахучее. – Поскидалъ верхъ сырой, крупный – лѣсное сѣно – постелилъ армякъ – легъ; такъ-то ему грустно, грустно стало. Тамъ, изъ-за лѣсу, бабы кричатъ, смѣются – ребята за ними гоняются, Маланьинъ голосъ слышно, – дымокъ до него доносить вѣтеркомъ. А на небѣ чисто, чисто, звѣздочки дрожать. Легъ навзничъ, какъ ни усталъ, сталъ¹⁹ на звѣзды смотрѣть. За лѣскомъ затихло все, а ему все не спится. Со скуки сталъ пѣсню пѣть. Только, что такое – копна шевелится.

– Кто тутъ?

Глядь, бабы.

– Кто ты, чего?

Узналъ – солдатка съ парнемъ прошла въ кусты, другая баба и есть Маланья; взяла, ничего не говоримши, подошла къ нему, сѣла на копну.

– Это я. Что пересталъ – пой, Андрюша.²⁰

Андрюшка заробѣлъ, хочеть пѣть, какъ будто голосъ пропалъ.

– Что жъ ты, пой.

Взяла его за рукавъ, дергаетъ.

– Я люблю эту пѣсню, наскучили мнѣ мужики, я отъ нихъ ушла. Пой же.

– Ну... Оставь.

– Что тебѣ, скучно?

Молчить.

– Чего тебѣ скучать? Вотъ мнѣ безъ мужа такъ скучно, а тебѣ что? Сытъ, сухъ, чего тебѣ еще?²¹

¹⁷ Поперек рукописи от слов: Мужики за ними до слов: Разсчитать возьму, написано: свечера приехали

¹⁸ В подлиннике: думаю

¹⁹ Зачеркнуто: песню петь

²⁰ Зачеркнуто: И такой голосъ тихой и не смѣется.

²¹ Зачеркнуто: Да какъ завоетъ.

– Что тебѣ въ мужѣ, у тебя и безъ мужа много.
<– Не миль мнѣ никто, Андрюша. Тошно, скучно мнѣ, мочи моей нѣтъ. Не миль мнѣ никто, окромя мужа. – А что жъ ты съ бабами не играешь?
– Что жъ, я чужой, у васъ своихъ ребятъ много.
– Ты серчаешь на меня?
– Нѣтъ, за что жъ?
– Экой ты горькой, право, посмотрю я на тебя, нелюбимой ты, право. А за мерина разсерчалъ?
– Нѣтъ, Маланьюшка, я тебѣ всю правду скажу... ты меня оставь. Что я тебѣ?... я работникъ... а то совсѣмъ глупъ сталъ... вѣдь самъ себѣ не властенъ... я на тебя и не смотрѣлъ прежде... мало ли, кажется, другихъ бабъ по деревнѣ... право, ты оставь... А что скучно, такъ дома давно не былъ...
<Она молчала и складывала занавѣску вдвое, потом вчетверо и опять раскладывала.>
– А что жъ, женить скоро?
– А Богъ знаетъ.
– Я бы за тебя пошла.
Андрюшка помолчалъ. Въ кустахъ зашумѣло и свиснуль кто-то. Андрюха засмѣялся.>²²
– Вишь, Настасья хозяйина нашла.²³
– Я бы пошла за тебя.

Маланья встала, сѣла на колѣни къ Андрюхѣ, обѣими руками взяла его за щеки и поцѣловала.

– Никто мнѣ не миль, никто мнѣ не миль.
Изъ кустовъ зашевелилось, она вскочила и побѣжала къ солдаткѣ.
– Что ты со мной дѣлаешь, что ты со мной сдѣлала, – сказалъ Андрюха и ухватилъ²⁴ ее за руку. Но она вырвалась:
– Брось, вишь народъ идетъ, увидить.

Андрюха не спалъ всю ночь, а она съ солдаткой пришла къ телѣгамъ и завалилась спать посередь бабъ и заснула, какъ мертвая, ничего не слыхала, не видала. Андрей долго сидѣлъ на копнѣ, слушалъ, рыскалъ около телѣгъ, но Маланья не встала; слышалъ онъ только, какъ собаки лаяли на станціи, какъ пѣтухи закричали, птицы проснулись, мужики пришли, смѣнились изъ ночнаго, какъ роса холодная покрыла землю и сѣно. Онъ самъ не помнилъ, какъ заснулъ. На восходѣ его разбудили. Маланья была такая же, какъ всегда, какъ будто ничего не было. —

4.

Какъ роса посошла, позавтракали, принялся народъ опять за работу. Самая веселая работа подошла, возить, въ стоги метать; кто поѣхалъ хворосту на падрину рубить, кто телѣги запрягалъ, кто копны разваливалъ, кто жеребій кидаетъ. День былъ красный, а старики говорили, что по примѣтамъ не устоятъ: росы мало было, табакъ у дворника въ тавлинкѣ къ крышкѣ прилипъ, ласточки низомъ летали, и мгла въ воздухѣ была, изъ дали не синѣло и такъ то парило, что силъ не было.

До обѣда ужъ порядочный стогъ скидали, съ телѣгъ подавать стали и за большими вилами послали – не доставали. На скирду 3-е подавальщиковъ, 2 съ каждой стороны, одинъ очесыва-

²² Поперек рукописи от слов: Не миль мнѣ никто, до слов: Андрюха засмѣялся. написано: заставила его борта водить. И что смѣшно, что бѣдный ушелъ, заплакалъ. Она пришла къ нему.

²³ Зачеркнуто: А мнѣ никто не миль, окромя мужа.

²⁴ В подлиннике: ухватила

еть. Дворнику сначала клали. Онъ самъ распустилъ поясокъ, тоже подаетъ – брюхо толстое – такъ и лъетъ съ него. —

Бабъ возить заставили. Маланька съ солдаткой возять; только привезетъ, на возу сидить, мужики закрутятъ, валютъ, чтобъ ее свалить, только успѣвай соскакивать,²⁵ а то вывалютъ съ сѣномъ, то-то смѣху. Разъ не успѣла, вывалили. Андрюха въ подавальщикахъ былъ со мной. Хоть наша сторона по легче была, въ тѣни, а замаялся мой малый безъ привычки, такъ что бѣда. Ну извѣстно, передъ народомъ старается не отстать, навилить, навилить, – особо, какъ бабы смотрятъ, – перегнется, перехватить – другой разъ не подъ силу, ну подымешь. Пойдетъ, ноги подламываются, навиллина надъ головой, сверху на потное лицо сухія травки сыпятся, липнуть. Тутъ зарость, чьи скорѣе подаютъ. «У насъ больше». И шумъ, и смѣхъ, и работа то, и запахъ, какъ одурѣлый сдѣлаешься. А дворникъ все подгоняетъ – тучки собираются; что подгонять, дѣло свое – стараются изъ послѣдней моченки. Къ обѣду скидали одинъ стогъ, вывершили, веревку перекинули, спустились. Андрюха пошелъ, рукъ не чувствуетъ. Чуть вздремнули, другой кидать стали. Охабками сначала живо идетъ, по зеленому листу падрины, потомъ выше, выше наши бабы зарются, бѣда. Тучки же заходятъ.

– Братцы, кидай пупомъ, живо, ведро поставлю.

То-то закипѣло. А тучка ближе, ближе, вѣтеръ поднялся. Залѣзъ наверхъ дворникъ, на него кидать пошли; борода раз– вѣвается, не успѣетъ огребать, завалили совсѣмъ; вылѣзетъ, опять завалить.

– Давай еще! Принимай! Вали съ бабой! Круче вывершивай, отопчи, одергивай сверху. Еще осталось много ли?

– Двѣ копны за кустами.

Бабамъ ѣхать пришлось – не знаютъ, говорятъ. Андрюха мой, вижу, ослабѣлъ вовсе, бьется, да ужъ какъ листъ дрожить.

– Ступай, ты знаешь.

А вѣтеръ сильнѣй, сильнѣй, тучка такъ и надвигаетъ, борода и рубаха у дворника треплются, какъ на скворешницѣ. Обтеръ потъ Андрюха, полѣзъ въ телѣгу.

– Давай бабу еще на верхъ, – кричить.

– Намъ давай.

Послали солдатку. Одернули съ колесъ сѣно.²⁶ Маланька встала, ухватилась за возжи, только ноги да груди подрагиваютъ. Андрей, какъ кулекъ какой, черезъ кочки треплется. За кусты поѣхали. Подѣхали, слѣзъ навивать Андрюха, баба на возу принимать осталась, только посмѣвается, глядя на него, ничего не говорить, охабками укладываетъ по грядкамъ, на него поглядываетъ. Хотѣлъ онъ навилину подать, подкосились ноги, упалъ на сѣно, моченьки не стало,²⁷ пересталъ навивать.

– Что жъ ты?

– А вотъ убью себя. Душегубка ты, вотъ что, злодѣйка, да, убью тебя и себѣ конецъ сдѣлаю.

Соскочила к нему.

– Что ты, Андрей! Аль²⁸ одурѣлъ, али испортили?

Схватилъ ее за ручки:

– Не мучай ты меня, Маланьюшка, мочи моей не стало, али прогони ты меня съ глазъ своихъ ясныхъ, не вели ты мнѣ жить на бѣломъ свѣту, али пожалѣй ты меня сколько нибудь.

²⁵ Поперек рукописи, со слов: Бабъ возить заставили, до слов: успѣвай соскакивать, написано: Все чище, чище.

²⁶ В подлиннике: сѣномъ

²⁷ Зачеркнуто: заработался, значить, малый. – Что ты, али спать? – Баба смѣется, только глядь, он какъ полотенцо бѣлое.

²⁸ Зачеркнуто: умираешь

Знаю я, что не мнѣ чета за тобой ходить, и хозяинъ у тебя мужикъ хорошій. Не властенъ я надъ собою. Умираю – люблю тебя, свѣтъ ты мой ясный.

А самъ ухватилъ ее за руки, заливаясь плачетъ.

– Вишь, силы нѣтъ навивать, а влипъ, какъ репейникъ, брось, вишь что выдумалъ. Брось, говорятъ, вотъ я хозяину скажу.

– Да вѣдь ты сама... зачѣмъ ты вчера меня цѣловала?

– Вчера хотѣлось, а нынче работать нужно. Ну, вставай, брось. Нонче ночь наша будетъ.

– Правда, Маланьюшка?

– А то развѣ лгать буду. Правда, что ночь будетъ. Вишь дождикъ. Ну!

Нечего дѣлать, очнулся кой какъ, навиль возъ, перекинулъ веревку, поѣхали. Идетъ подлѣ.

– Не обманешь?

– Вѣрно.

А сама все смѣется.

Скидали возъ, только успѣли, а ужъ дождикъ крапить. Живо подъ телѣги забился народъ, шабашъ. Дворниково сѣно убрали, свое осталось. – Дѣлать нечего, пошелъ народъ по домамъ. Вѣдь догадалась же, шельма. Андрея оставила съ телѣгой, сама съ солдаткой домой пошла. Только вышли, Никифоръ, что съ солдаткой жилъ, за ними. Отстала солдатка, М[аланья] одна домой пошла. Дождичекъ прошелъ, солнышко проглянуло, идти лѣсомъ. Маланька разулась, подобрала паневу на голову, идетъ, ноги бѣлые, стройные, лицо румяное, ну какъ ни прибе- рется, все красавица – красавица и есть. —

Тутъ ее, видно, Богъ и наказалъ за всѣ шутки и за Андрюху. Дворникъ сѣно гуртов- щика продалъ и гуртовщика то въ этотъ самый день звалъ на покось сѣно посмотрѣть. – Идетъ Маланька черезъ поляну и о чемъ думаетъ, Богъ ее знаетъ: и солдатка тутъ съ Н[ики- форомъ] въ головѣ и Андрюха – сама ушла, и жалко ей крѣпко Андрюху, и все; идетъ, видитъ – на встрѣчу человѣкъ на конѣ верхомъ ѣдетъ. Кафтанъ купеческой, картузь, изъ кафтана рубаха александринская, сапоги козловые, конь низовой, молодецкой и на конѣ сѣдокъ, изъ себя молодчина – орель, одно слово сказать, толстый, румяный, чернобровый, волоса черные, кудрявые, борода, усы чуть пробиваются. Ёдетъ, трубочку, мѣдью выложенную, покуриваетъ, плеткой ременной помахиваетъ. Изъ себя, сказать, что красавецъ, кто его не зналъ. Маланька не видывала его въ жизнь, а мы такъ коротко знали Матвѣй Романыча, гуртовщика. Такой шельмы другой, даромъ что молодой, по всей губерніи не было. Насчетъ ли бабъ, дѣвокъ обма- нуть, скотину чумную спустить, лошадыми барышничать, рощицу гдѣ набить, отступнаго взять – дошлой былъ, даромъ что годовъ 20 съ чѣмъ, и отецъ такая же каналья.

– Здравствуй, тетушка, куда Богъ несетъ?

А самъ поперекъ дороги сталъ.

– Домой идемъ, что дорогу загородилъ, я и обойду.

Повернулъ лошадь, за ней поѣхалъ. Посмотрить на него баба – орель, думаетъ, это не Андрюхѣ чета.

– Какъ тебя зовутъ, молодайка?

– А тебѣ начто?

– Да нато, чтобы знать, чья такая красавица бабочка.

– Какая ни есть, да не про тебя. Нечего смѣяться то.

– Какой смѣяться. Да я для такой бабочки и ничего не пожалею. Какъ звать?

– Маланьей. Чего еще нужно?

(Онъ опять дорогу загородилъ). Слѣзать сталъ.

– Мотри! – да граблями на него.

– А по отчеству какъ?

– Радивоновна.

Слѣзь, пошелъ съ ней рядомъ.

– Ахъ, Маланья Радивоновна, хоть бы поотдохнула минутку, ужъ такъ то ты мнѣ полюбила.

А Маланька какъ чуетъ чего недобраго, и лестно ей, и любо, и жутко, все скорѣе шагу прибавляетъ.

– Ты своей дорогой ступай, а я своей. Вотъ мужики сзади ѣдутъ. Тебѣ дорога туда, а мнѣ сюда.

– Маланья Радивоновна, мнѣ, – говорить, – за тобой не въ тягость идти.

Взялъ изъ кармана платокъ красный, досталъ, ей подаетъ.

– Не нужно мнѣ отъ тебѣ ничего, брось.

– Матушка, красавица, Малашенька! —говорить. – Что велишь, то и сдѣлаю, полюби только меня. Какъ увидаль тебя, не знаю что надо мной сдѣлалось. Красавица ласковая, полюби ты меня!

И Богъ знаетъ, что съ нею сдѣлалось, такая бой-баба съ другими. Только потупилась, молчить и сказать ничего не умѣетъ. Схватилъ онъ ее за руки.

– Негаданная, незнатая ты моя красавица, Маланья Радивоновна, полюбилъ я тебя, что силы моей нѣту. 10 мѣсяцевъ дома не бывалъ, – самъ блѣдный какъ полотенцо сталъ, глазами блестить, – мочи моей нѣтъ. – Сложилъ руки такъ то: – Богомъ прошу тебя, – голосъ дрожить, – постой на часъ, сверни ты съ дороги, Маланья Радивоновна, утѣшь ты мои тѣлеса. —

Растерялась, только и сказала:

– Ты чужой, я тебя не знаю.

– Я чужой, и стыдъ съ собой увезу.

Да какъ схватить ее на руки, – мужикъ здоровый, – понесъ ее сердешную.

Разузналъ все объ ней, гдѣ дворъ, и гдѣ ночуетъ, вынулъ кошелекъ изъ-за, пазухи, досталъ цѣлковый рубль, далъ ей. Взвыла баба:

– Пожалѣй ты меня, не срами.

– Вотъ тебѣ, – говорить, – моя память, а завтра какъ темно, такъ я засвищу на задворкѣ.

Проводилъ ее до выхода изъ лѣсу, сѣлъ на коня и былъ таковъ.

5.

Пришла домой, старикъ, старуха ничего не знаютъ, не вѣдаютъ, а видятъ – баба другая стала. Ни къ чему не возьмется, все куда бѣгаетъ. Андрюхъ еще тошнѣе стало. Пришелъ онъ разъ къ ней на гумно, сталъ говорить, такъ какъ на злодѣя напустилась, остервенилась вовсе, заплакала даже.

– И не смѣй ты говорить мнѣ ничего, навязался – чортъ – пошутить нельзя, – заплакала даже, – отъ тебя мнѣ горе все.

Ничего не понялъ, еще тошнѣе стало Андрею, а все уйти силы нѣтъ. Хотѣлъ отецъ его на другое мѣсто поставить, много лишковъ давали, такъ нѣтъ, – говорить, – я даромъ здѣсь жить стану, а въ чужіе люди не пойду.

Тутъ, съ этаго покоса, и погода перемѣнилась, дожди пошли беспрестанные; которая мужицкая часть осталась, такъ и сопрѣла въ лугахъ. Кое-что, кое что высушили по ригамъ. Съ утра и до вечера лило; грязь, ни пахать – изъ рукъ соха вырывается, гужи размокаютъ, ни сѣно убирать, ничего. – Идетъ разъ Андрюха въ ригу, на барщину, по лужамъ посклизается, шлепа-етъ; видитъ, баба, накрывшись платкомъ, съ хворостиной, голыми ногами по грязи ступаетъ – корову Маланька искала. Дождь такъ и льетъ какъ изъ ведра цѣлый день, скотину въ полѣ не удержать пастухи. Смотритъ, гуртовщикъ ѣдетъ, поровнялся съ ней.

– Нынче, – говорить.

Маланька голову нагнула. «Такъ вотъ кто», думаетъ Андрей. Пришелъ домой, спать не легъ, все слушалъ. Слышитъ, свиснуль кто то за гумнами. Маланька выскочила, побѣжала. Пришелъ Андрей къ овину, видитъ – мужикъ чужой.

– Ты кто?

– Работникъ.

– Не сказывай, на двугривенный. Взялъ Андрей двугривенный, что станешь дѣлать. Только не Андрей одинъ узналъ, стали замѣчать по деревнѣ: часто наѣзжаетъ гуртовщикъ, Маланька съ солдаткой бѣгаетъ. – Ну, да мало ли что говорятъ, вѣрнаго никто не зналъ. Приѣзжаетъ разъ Евстратъ ночью. Слышалъ ли онъ, или такъ, – бабы нѣтъ.

– Она, – говорятъ, – на гумно пошла.

Пошелъ въ овинъ – голоса. Задрожалъ даже весь. Въ сарай, глядь – сапоги.

– Эй, кто тамъ? – да дубиной какъ треснетъ; дворникъ въ ворота, да бѣжать. Малашка выскочила въ рубахѣ одной, въ ноги.

– Чьи сапоги?

– Виновата.

– Ладно-жъ, ступай въ избу.

А самъ сапоги взялъ понесъ. Легъ спать одинъ. Утромъ взялъ черезсѣдѣльную свиль, видитъ Андрей. Зазвадь бабу въ чуланъ, ну жучить; что больше бьетъ, то больше сердце расходится. – «Не гуляй, не гуляй! – за волоса да объ земь, глазъ подбилъ. А она думаетъ: «Въ брюхѣ то что сидитъ, не выбьешь».

Мать стала просить. Какъ крикнетъ: «Кто меня учить съ женой будетъ!» что мать застыдилась, прощенья просить стала. Запретъ лошадь, поѣхалъ съ Андреемъ пахать. Сталь допрашивать.

– Ничего не знаю.

Приѣхалъ домой, отпрегъ, баба ужинать собираетъ – летаетъ, не ходитъ; умылась, убралась, синякъ видно, и не смѣетъ взглянуть. Поужинали. Старики пошли въ чуланъ. Легъ на полати, къ краю, ничего не говорить.

– Туши лучину.

Потушила. «Что будетъ дѣлать?» думаетъ. Слышитъ, разувается. Ладно. Видитъ, прошла мимо окна. Вѣдь шесть мѣсяцевъ дома не былъ, да и побилъ. Такъ то мила она ему. Подлѣ него зашевелилась молча. Приподняла армякъ, какъ прыгнетъ къ нему, какъ козочка, въ одной рубахѣ, обняла, чуть не задушила.

– Не будешь?

– Не поминай!

Съ тѣхъ поръ и забыла думать о дворникѣ.²⁹ А Евстратъ сапоги продалъ за 6 р. и смѣялся часто:

– Не попался онъ, я бы съ него и армякъ снялъ.

Андрюха дожилъ до Покрова и пошелъ домой и долго все не забывалъ, а тутъ на него землю приняли, женили. Черезъ 9 мѣсяцевъ Маланья родила, выпечатала въ дворника, и любимый ее былъ старшій этотъ самый Петрушка.

²⁹ В подлиннике рукой С. А. Толстой сверху написано: гуртовщикѣ.

[ВАРИАНТЫ К «ИДИЛЛИИ».]

ИДИЛЛИЯ
не играй съ огнемъ – обожжешься.
[ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ]

[1.]

Маланья Дунаиха взята изъ чужой деревни – Малевки. Сосваталъ ее старикъ Дутловъ за старшаго сына но знакомству. Своихъ невѣсть тогда въ деревнѣ не было, да и дѣвочка была славная и изъ дому хорошаго. – Замужъ она вышла всего годочковъ 14; вовсе ребенокъ несмысленной была. Ни силы еще, ни понятія вовсе не было. На груди занавѣску гдѣ хочешь перетяни, какъ скатерть на столѣ постели. Чуть примѣтно, что не паренъ паневу надѣлъ. Не скажешь, что баба, даромъ что платкомъ повязана. Понесетъ ушатъ съ водой, такъ какъ лозинка качается. А Евстрата – мужа такъ звали – съ перваго начала страхъ не любила. – Какъ огня боялась. Онъ, бывало, къ ней, а она плакать, щипать, кусать его примется. Всѣ плечи, руки у него въ синякахъ были. И не мѣсяць и не два, а годъ и другой и третій не любила она его. Ну, бабочка она акуратная изъ себя, смиренная, да и жили то Дутловы по Божьему и исправно, такъ и не принуждали дуже молодайку ни къ работѣ, ни что. —

Дутловы въ то время – хоть не богачи были – а люди съ достаткомъ. Старикъ самъ въ порѣ еще былъ, тягло тянулъ, сына женилъ, другую землю принялъ; второй сынъ, Трифонъ, ужъ подсобка была, пахаль; солдатка еще съ ними жила, барщина не тяжелая была; лошадей было головъ 8 съ жеребятами, двѣ коровы, пчелки были (и теперь у нихъ та же порода ведется). Дороже всего, что старикъ мастеръ былъ по колесной части, и Евстратка у него понялъ хорошо, такъ что кромѣ всего наработки хорошіе были; и въ работѣ то натуги не было, и ѣли хорошо, въ праздникъ и винца купять.

Прошелъ годъ, и два, и три, какъ Маланька въ дворъ вошла, повыросла, раздумянилась, раздобрѣла, повыравнялась бабочка, такъ что узнать нельзя. Въ праздникъ уберется – бусы, ленты, платокъ ковровый, выйдетъ на улицу – изо всѣхъ бабъ баба. И изъ дому то было, да и мужъ гостинцами дарилъ, какъ купчиха какая. Платокъ алый, брови черные, глаза свѣтлые, лицо румяное, чистое, сарафанъ ситцевый, коты строченые, сама какъ береза бѣлая была, никакой болѣзни никогда надъ собой не знала. Выйдетъ ли въ хороводъ борша водить – краля; или плясать пойдетъ, – такъ ажъ пятки въ спину влипають – картина. Къ работѣ тоже очень ловка и сносна стала. Съ граблями ли, съ серпомъ, на барщинѣ ли, дома – никого впередъ не пустить, такую ухватку себѣ взяла, замучаетъ бабъ всѣхъ, а домой идетъ – пѣсню запоетъ, помужицки такъ, изъ за рощи слышно, <али пляшетъ передъ хороводомъ>. А домой придетъ – ужинать соберетъ, старухѣ подсобить. – Свекоръ съ свекровью не нарадуются, какая молодайка вышла, а мужъ и души не чаялъ. Бывало, ни въ праздникъ, ни въ будни пройти ей не дадутъ; всякой поиграть хочеть – старики, и тѣ приставали. Со всѣми смѣется, только худого ничего не слышно было; одного мужа любила, такъ то къ нему привыкла, что какъ на недѣлю ушлетъ его отецъ за ободьями,³⁰ или что, такъ какъ тоскуетъ <воетъ воетъ, словно по матери родной убивается>; а пріѣдетъ мужъ, и не знаетъ какъ приласкать, не то что прежде – къ себѣ подойти не пускала, какъ кобылка степная.

³⁰ В подлиннике: обидями

– Вишь, по комъ вое, – говорить ей разъ сосѣдъ Никита, – конопатаго чорта то какъ жалѣя, какого добра не видала, – пошутиль онъ.

Такъ какъ вскинется на него. Хотѣль онъ было поиграть съ ней – куда.

– Конопатый, да лучше тебя, что ты чистый, а вотъ что тебѣ отъ меня.

Да какъ ткнетъ ему пальцемъ подъ носъ. Оно точно, Евстратъ-то ея конопатый былъ и изъ себя нескладный, длинный, грубой, неразговорчивой мужикъ былъ. Только что здоровъ, противъ него силой другого по деревнѣ не было, и хозяинъ иастоящій былъ. Даромъ что молодой, отецъ его одного, бывало, за всякими дѣлами посылаетъ. Что я, что Евстратка, все одно, говорить. И Евстратка жену еще пуще любить сталъ, только въ одномъ скучалъ, что дѣтей не было. Бывало и старуха скажетъ:

– Что не рожаешь, буде гулять-то: порадовалась бы, хоть внучку покачала, Маланьюшка, право.

– А развѣ я бы не рада, – скажетъ, – ужъ и то людей стыдно. Намеднись и то Ризунова изъ церкви съ младенцомъ прошла, молитву принимала; всего второй годъ замужемъ. Такъ у ней небось мужъ дома живетъ.

Извѣстно, годъ-другой погулять бабѣ не порокъ, ну, а какъ баба то ражая, въ самой порѣ, а дѣтей не рожаетъ, и народъ смѣяться станеть.

Отъ этаго Маланѣ на третій годъ пуще тошно стало, какъ свекоръ мужа на все лѣто въ работу за 100 верстъ отдалъ. Сына за 120 р. отдалъ, а работника нанялъ за 32 р. да рукавицы. Хозяину расчетъ, а бабѣ горе. Взыла баба, какъ проводила его, какъ будто сердце что чуяло. Какъ по матери родной убивалась.

И пѣсня поется: «Безъ тебя, мой другъ, постеля холодна».

<Дѣло молодое, жаркое, въ самомъ соку баба, всегда съ народомъ, съ молодыми ребятами на работѣ съ утра до поздней ночи. Тоже и мясо ѣла. Тотъ пристаесть, другой пристаесть, а мужа черезъ три мѣсяца жди>. Днемъ смѣется, смѣется съ народомъ, а послѣ ужина схватить, сердешная, постель да къ солдаткѣ въ чуланъ. Страшно, – говорить, – Настасьюшка, одной. Да еще все просится къ стѣнкѣ. Все, говорить, – чудится, что вотъ вотъ схватить кто меня за мои ноженки, потащить меня – боюсь страхъ. – А сама не знаетъ, чего боится. И баба кажись не таковская, чтобы побояться чегонибудь.

2.

И прежде приставали къ бабѣ, а какъ мужъ уѣхалъ, такъ вовсе покою съ утра до вечера давать не стали. Она и сама говорила, что такаго веселья, какъ въ это лѣто, никогда ей не было. И случаевъ много ей было, коли бы захотѣла пустяками заниматься. – Придетъ, бывало, съ утра староста повѣщать, еще зорька занимается; къ другимъ десятскаго пошлетъ, а ужъ къ Дутловымъ самъ зайдетъ, часъ цѣлой сидитъ, съ бабами шутить. Старостой Михей ходилъ, малый молодой, немученый и до бабѣ юрникъ бѣда былъ. Какъ только одну захватить, и начнетъ:

– Только прикажи, что хочешь сдѣлаю, никуда посылать не стану, мужа на оброкъ выхлопочу, платокъ куплю, что велишь, все сдѣлаю, все могу, только не мучь ты меня.

Такъ ни да, ни нѣтъ не скажетъ.

– На барщину, – говорить, – посылай, мнѣ веселѣй на міру работать, дома таже работа; платка твоего мнѣ не нужно, мнѣ мужъ привезетъ; на оброкъ мы и такъ не хотимъ, а сдѣлать ты мнѣ ничего не можешь. Не боюсь тебя, да и все.

Честью просить станеть:

– Маланьюшка, матушка, вѣдь много другихъ бабъ, а ни одна не мила.

Обниметь ее, такъ смѣется:

– Ладно, ладно, – говорить. – Развѣ можно теперь, хозяинъ придетъ, развѣ хорошо?

– Такъ когда жъ? съ работы?

– Извѣстно, съ работы, какъ пойдетъ народъ, а мы съ тобой въ кусты схоронимся, чтобъ твоя хозяйка не видала. – А сама на всю избу заливаешься, хохочеть.

– А то, моль, разсерчаетъ дюже твоя Марфа то старостиха.

Такъ что не знаетъ староста, шутить-ли, нѣтъ-ли. При свекорѣ, при свекрови все свое кричить, не стыдится. Нечего дѣлать, повѣстить, какъ будто затѣмъ только и приходилъ, пойдетъ съ палочкой по другимъ избамъ. А все кого другихъ и лишній разъ пошлетъ, и на тяжелую работу, а Дутловы какъ хотятъ, такъ и ходятъ, и все изъ за Маланьки. – Маланька охотница была на барщину ходить, особенно на покось. Дома приуправится, уберется, какъ на праздникъ, возьметъ грабли, въ завтраки выйдутъ съ солдаткой на покосы.

Идетъ разъ такимъ манеромъ черезъ рощу. Покось на Калиновомъ лугу былъ. Солнышко повышло изъ за лѣса, день красный, а въ лѣсу еще холодокъ. Опоздали они съ солдаткой, разулись, идутъ лѣскомъ, гутарюють. Только вышли на полѣ, мужики господскую пашню поднимаютъ. Много мужиковъ, сохъ 20 на десяти десятинахъ по дорогѣ было. Гришка Болхинъ ближе всѣхъ къ дорогѣ былъ, – шутникъ мужикъ, – завидѣлъ бабъ, завернулъ возжу, уткнулъ соху, вышелъ на дорогу, сталъ играть съ бабами, не пускаетъ. Онъ слово, а они два; другіе ребята молодые тоже сохи побросали, подошли, всѣхъ Маланька переполошила, пѣсню заиграли, плясать вздумали. Такую гульбу сдѣлали, какъ свадьба ровно. Глядь, а изъ за рощи прикащикъ верхомъ ѣдетъ. – Какъ завидѣлъ, плеть поднялъ, запустилъ черезъ пашню рысью на мужиковъ. По щетку лошадь въ пашнѣ вязнетъ – человекъ грузный.

– Сукины дѣти, такіе сякіе, хороводы водить, вотъ я васъ.

Мужики, какъ тараканы изъ подъ чашки, по десятинамъ разбѣжались, а бабы грабли на плеча вскинули, идутъ, какъ ни чего не бывало. Смѣется Маланька. Никого не боялась. Наскакалъ прикащикъ.

– Я, – говоритъ, – васъ найду, – къ мужикамъ, да на бабъ съ плетью, я васъ, такія сякія, курвы устюжныя, – такая у него пословица была, – въ обѣдъ на покось идутъ; да еще хороводы на полѣ водятъ.

Совсѣмъ было осерчалъ, да какъ Маланьку призналъ, такъ и сердце прошло, самъ съ ней посмѣялся.

– Вотъ я, – говоритъ, – тебя, мужицкіе уроки допахивать заставлю.

– Что жъ, – говоритъ, – давай соху, я проти мужика выпашу.

– Ну буде, буде. Идите, вонъ еще бабы идутъ. Пора, пора грестъ. Ну, бабы, ну!

Совсѣмъ другой сталъ. —

За то придетъ на лугъ, поставятъ бабъ на ряды трестъ, выйдетъ Маланька впередъ, такъ бѣгомъ начнетъ растресать, такъ что бабы ругать зачнутъ: замучала, моль, совсѣмъ. А начальнику, извѣстно, любо – смѣется.

Зато когда обѣдать или шабашить пора, замучаются бабы, промежъ себя поговариваютъ, <пора бы отпустить>, Маланька прямо къ начальнику идетъ, отпустить просить, и отпустятъ. Никого она не боялась. Въ рабочую пору разъ как-то спѣшная уборка была, цѣлый день работали, а обѣдать домой не отпускали. Хлѣбца закусили, присѣли отдохнуть на полчаса. И прикащикъ за обѣдомъ домой посылалъ, тутъ же съ бабами въ холодокъ сѣлъ.

– Что, кума, спать будешь? – говоритъ. Онъ съ Маланькой крестилъ.

– Нѣтъ, – говоритъ, – зачѣмъ спать, только раззадоришься.

– Такъ поищи въ головѣ, Маланьюшка, смерть люблю.

Легъ къ ней на колѣни, какъ разъ заснулъ. Такъ что жъ? Взяла березокъ, вѣнниковъ нарвала, – бабы ей подали, – убрала ему вѣнками голову всю, за рубаху натыкала, въ носъ ему листьевъ засунула. Проснулся, гогочутъ бабы, на него глядячи – куда хватился. И ничего.

А то приѣхалъ баринъ въ это же лѣто, былъ съ нимъ холопъ, такая бестія продувная, что бѣда. Самъ, бывало, рассказываетъ, какъ барина обманываетъ, у него деньги таскаетъ. Это бы все ничего, только насчетъ бабъ такой подлый былъ, что страхъ.

**** П.ТИХОНЪ И МАЛАНЬЯ.**

Въ деревнѣ было пусто и празднично. Народъ былъ весь въ церкви. Только малые ребята, бабы и кое какіе мужики, полѣнившіеся идти къ обѣднѣ, оставались дома. Бабы вынимали изъ печей, ребята ползали около пороговъ, мужики кое что осматривали по дворамъ. На улицѣ было пусто. Былъ Петровъ день.

Въ концѣ улицы послышался ямской колокольчикъ и показалась тройка, запряженная въ почтовую телѣгу.

Одинъ изъ мужиковъ, остававшихся дома, Анисимъ Жидковъ, услыжавъ колокольчикъ, бросилъ телѣжный ящикъ, который онъ переворачивалъ, и, скрипя воротами, вышелъ на улицу посмотрѣть, кто ѣдетъ. У пристяжныхъ были гривы заплетены съ оборочками, коренная, знакомая ему чалая, была высоко подтянута головой подъ дугу. Она, чуть пошатываясь головой, быстро, раскачиваясь, тронулась на изволокъ, когда ямщикъ, приподнявшись на колѣно въ ящикъ, крикнулъ на нее. Лошади были гладки и не потны, несмотря на то, что солнце уже сильно пекло съ совершенно яснаго неба. – Ямщикъ былъ курчавой, въ новомъ кафтанѣ и шляпѣ.

– Ермилинъ Тихонъ! – проговорилъ про себя Анисимъ, узнавая ямщика и выступая въ своихъ новыхъ лаптяхъ на середину улицы.

Тихонъ, проѣзжая мимо Анисима, молча приподнял шляпу; и въ выраженіи его лица было видно, что онъ очень счастливъ и знаетъ еще, что всѣ не могутъ не завидовать ему и его тройкѣ, которую онъ самъ собралъ и привелъ въ такое положеніе; и что онъ только старается не слишкомъ оскорбить другихъ довольствомъ, которое онъ испытываетъ. Онъ не крикнулъ на лошадей; снимая новую шляпу, надѣлъ ее не на бокъ, а прямо, только шевельнулъ возжей пристяжную и недалеко отъ Анисима, заворотивъ, сталъ сдерживать тройку, старательно и излишне продолжительно отпрукивая лошадей, которыя и безъ того весьма скромно подходили шагомъ къ знакомымъ воротамъ. Анисимъ, котораго дѣла шли не слишкомъ хорошо это лѣто, съ завистью, но и уваженіемъ, подошелъ къ Тихону, чтобы покаякать съ нимъ.

Старуха мать, одна остававшаяся дома, вышла на крыльцо.

– Слышу, колоколь, думаю, кто изъ ямщиковъ, – сказала она радостно. – Стала опять пироги катать, мнѣ и не слышать. Послушала, а онъ вовсе близко.

– Здорово, матушка! – сказалъ сынъ, соскакивая тяжелыми сапогами подлѣ передка.

– Здорово, Тишинька. Живъ ли, здоровъ ли?

И она продолжала говорить, какъ и всегда говорила обо всемъ, какъ о воспоминаніи чего-то грустнаго и давно прошедшаго.

– Думаю вотъ, коли нашъ Тихонъ, старика то нѣтъ и бабъ нѣтъ, къ обѣднѣ ушли...

Тихонъ, не дослушавъ ее, вынулъ узелокъ изъ передка, вошелъ въ избу, поклонился образамъ и, черезъ сѣни пройдя, отворилъ ворота. Онъ заткнулъ рукавицы и кнутъ за поясъ, приперъ ворота, чтобъ не зацѣпить, провелъ подъ уздцы пристяжныхъ, скинулъ петли постромокъ, захлестнулъ, раввожалъ, раскупонилъ, вывелъ, нигдѣ ни стукнулъ, ни дернулъ и, какъ только бросалъ одно, такъ, не торопясь, но ни секунды не медля, брался за другое. Ничто не цѣплялось, не валилось, ни соскакивало у него подъ руками, а все спорилось и ладилось, точно все было намавлено. Когда въ рукахъ у него ничего не было, большіе пальцы его рукъ очень далеко оттопыривались отъ кистей, какъ будто все хотѣли схватить еще чтонибудь и сработать. Распрягая, онъ не переставалъ говорить съ подошедшимъ Анисимомъ.

Анисимъ подошелъ, лѣнливо выкидывая свои ноги въ лаптяхъ и почесывая пояскомъ животъ подъ бѣлой чистой рубахой. Онъ опять приподнял шапку и надѣлъ. Тихонъ тоже приподнял и надѣлъ.

– Ай, по молодой женѣ соскучился? – сказала посмѣиваясь Анисимъ, желавшій распространить совсѣмъ другое.

– Нельзя! – отвѣчалъ Тихонь.

– Что наши, какъ живутъ? Митрошины? – серьезно уже заговорилъ Анисимъ, почесывая голову.

– Какъ кто. Кто хорошо, а кто и худо. Тоже и на станціи какъ себя поведешь, дядя Анисимъ, – разсудительно и не безъ гордости думая о себѣ, сказалъ Тихонь.

– Каряго то промѣнялъ чтоли? – теперь ужь могъ спросить то, что хотѣлъ, Анисимъ. – Саврасую то тоже купилъ чтоль?

– Что карій, только батюшка вздорилъ. Его бы давно отдать. Того и стоилъ.

И Тихонь не безъ удовольствія разсказалъ, какъ онъ промѣнялъ, купилъ, сколько выработалъ, и сколько другіе меньше его выработали. Анисимъ предложилъ, шутя и серьезно, поставить ему водки, Тихонь тихо, но рѣшительно отказалъ.

Между разговоромъ онъ все дѣлалъ свое дѣло. Лошади были отпряжены, онъ повелъ ихъ подъ навѣсъ. Анисимъ, узнавъ все, что ему нужно было, сталъ молча чесаться обѣими руками и, почесавшись, ушелъ. Кинувъ лошадямъ сѣна изъ ящика, Тихонь сдвинулъ шляпу на лобъ и, оттопыривъ еще больше пальцы, пошелъ въ избу. Но дѣлать было нечего, и пальцы такъ и остались. Онъ только повѣсилъ, встряхнувъ, шляпу на гвоздь, смахнулъ мѣсто, где лежать армяку, сложилъ его и въ одной новой александринской рубахѣ, которую еще не видала на немъ мать, сѣлъ на лавку. Портки на немъ были домашніе, материной работы, но еще новые, сапоги были ямскіе, съ гвоздями. Онъ на дворѣ отеръ ихъ сѣнцомъ и помазалъ дегтемъ. Дѣлать было рѣшительно нечего: онъ расправилъ рукава, смявшіеся подъ кафтаномъ, и сталъ разбирать изъ узелка гостинцы. Для жены былъ ситецъ большими цвѣтами, для матери платокъ бѣлый съ коемочкой, баранокъ была связка для всѣхъ домашнихъ.

– Спасибо, Тишинька, мнѣ то бы и даромъ, – говорила старуха, раскладывая на столѣ свой платокъ и поводя по немъ ногтемъ. – Немного не засталъ. Старикъ еще съ заутрени на поповкѣ остался, а я вотъ домой пошла; молодыя бабы охотились къ поздней идти, подсобили мнѣ горшки поставить и пошли, а я вотъ осталась.

И старуха, уложивъ платокъ въ сундучекъ, опять принялась за работу у печи и, работая, все говорила:

– Все, слава тебѣ Господи, – говорила она, – старикъ только мой отъ ногъ все умираетъ, какъ ненастье, такъ крикомъ кричить, на барщину все больше Гришутка за него ходитъ. (Гришутка былъ меньшей, не женатый братъ Тихона.) Спасибо, начальники не ссылаютъ. Все Михеичъ старостой ходитъ. Чтожъ, жаловаться нѣчего, порядки настоящіе ведѣтъ. Только, говорить, въ косьбу Гришутку не посылайте, не вынесетъ, еще младъ. Намеднись барскіе сады косили, такъ старикъ Гришутку послалъ, самъ косу ему наладилъ и Герасима свата просилъ отбивать; такъ какъ измучился, сердечный. – Я, матушка, говорить, не снесу. Всѣ ручки, ноженки заломило. Да и гдѣ ему? тѣло мягкое, дробное, молодое. Такъ вотъ и не знаемъ, какъ быть, ты ли на покой останешься, работника ли наймать.

– Ну а про господъ что слышать? – спросилъ Тихонь, видимо, но желая даже и говорить о такомъ важномъ дѣлѣ съ бабою, хотя бы она и была его мать.

– Сказывали намеднись, что всѣ будутъ, а то опять замолчали. Молодой тутъ живетъ, да его и не слышать. Все Андрей Ильичъ завѣдуетъ. Мужики говорятъ ничего, что то только изъ за покосовъ съ нимъ вышло, старикъ знаетъ, онъ на сходкѣ былъ, все расскажетъ. Навозъ свозили, слава те Господи, запахали всю почесть землю. Осьминника два ли осталось. Старикъ знаетъ. Барщина тоже ничего была. Мужикамъ все дни давали. Вотъ бабамъ такъ дюже тяжело было. Все всѣми да всѣми. Замучали полоньемъ совсѣмъ. Какую то (какъ ее?) свекловичу – чтоли все полютъ. Дома все я, да я одна бьюсь. Твоя баба съ солдаткой, что ни день, то на барщину. Хлѣбушки ставить, коровъ доить, холсты и то я стелю. Покуда ноги служатъ. Незнамо,

что дальше Богъ дастъ. Баба то твоя молодая день деньской замучается, а домой идетъ, хоро-
вонь ведетъ, пѣсенница такая стала, гдѣ и спрашивать съ нее, человекъ молодой, куражный, а
народъ хвалить, очень къ работѣ ловка, и худого сказать нѣчего. Ну съ солдаткой другой разъ
повздорять – нельзя. Старикъ покричитъ и ничего. То то рада будетъ, сердешная. Не чаяли
мы тебя дожидаться. Вчера пирогъ ставила, думала, кто мой пирогъ кушать будетъ. Кабы знала,
пѣтушка бы зарѣзала для сынка дорогаго. Слава Богу, насѣдка вывела, трехъ продала.

Старуха говорила все это и много еще другаго рассказала сыну, про холсты, про гумно,
про стадо, про сосѣда, про прохожихъ солдатъ, и все дѣлала свои дѣла и въ печи, и на столѣ,
и въ клети. А Тихонъ сидѣлъ на лавкѣ, кое что спрашивая, кое что самъ рассказывая, и, взявъ
на знакомомъ мѣстѣ гребешокъ, расчесывалъ свои кудрявые, густые волосы и небольшую,
рыжеватую бороду и съ удовольствіемъ посматривая въ избѣ то на панѣву хозяйки, которая
лежала на полатахъ, то на кошку, которая сидѣла на печи и умывалась для праздника, то на
веретено, которое сломанное лежало въ углу, то на курицу, которая безъ него занеслась и съ
большими цыплятами зашла въ избу, то на кнутъ, съ которымъ онъ самъ ѣзжалъ въ ночное
и которъ Гришка бросилъ въ углу.³¹ Не одни его оттопыренные пальцы, но и внимательные,
поглядывающіе на все глаза просили работы, ему неловко было сидѣть, ничего не дѣлая. Онъ
бы взять косу, отбить бы, починилъ бы завалившуюся доску на полатахъ или другое что, но во
время обѣдни нельзя работать. Наговорившись съ старухой, онъ поднялъ охлопавшійся кнутъ,
досталъ пеньки, вышелъ на крыльцо и на гвоздѣ, у порога, сталъ свивать хлопокъ своими здо-
ровыми ручищами, сдѣланными только для того, чтобы пудовиками ворочать, и все поглядыва-
валъ по улицѣ, откуда долженъ былъ идти народъ изъ церкви. Но еще никого не было, только
мальчишки въ вымытыхъ рубахахъ бѣгали около пороговъ. Мальчишка лѣтъ пяти, еще въ гряз-
ной рубахѣ, подошелъ къ порогу и уставился на Тихона. Это былъ солдаткинъ сынъ, племян-
никъ Тихона.

– Сѣмка, а Сѣмка, – сказалъ Тихонъ, – ты чей? – улыбаясь на самага себя, что онъ съ
такимъ мальчишкой занимается.

– Солдатовъ, – сказалъ мальчикъ.

– А мать гдѣ?

– Въ кобѣднѣ, и дѣдушка въ кобѣднѣ, – щеголяя своимъ мастерствомъ говорить, сказалъ
мальчикъ.

– Аль ты меня не призналъ? – Онъ досталъ изъ кармана одинъ бубликъ и далъ ему.

– Вонъ она, кобѣдня! – сказалъ мальчикъ на распѣвъ, указывая вдоль по улицѣ и беско-
знательно вѣпляясь въ бубликъ.

– А кто я? – спросилъ Тихонъ.

– Ты?... дядя.

– Чей дядя?

– Тетки Маланьки.

– А тетку Маланьку знаешь?

– Семка, – закричала старуха изъ избы, слышавшая голосъ парнишки, – гдѣ пропадалъ?
Иди, чортовъ парнишка, иди, обмою, рубаху чистую надѣну.

Парнишка полѣзъ черезъ порогъ къ бабкѣ, а Тихонъ всталъ, хлопнулъ раза два навитымъ
кнотомъ, чтобъ увидать, хорошо ли.³² Кнутъ хлопалъ славно. —

Парнишку раздѣли голаго и обливали водой. Онъ кричалъ на всю избу.³³ Тихонъ стоялъ
на крыльцѣ и смотрѣлъ на улицу. День былъ красный, жаворонки вились надъ ржами. Ржи

³¹ Зачеркнуто: Все ему это мило было, потому что все это напоминало ему Маланью, его хозяйку.

³² Зачеркнуто в ркп. II: и какъ будто что-то вспомнилъ, пошелъ въ избу <онъ посмотрѣлъ еще въ улицу>, взялъ свой
кафтанъ, женину синюю поддевку и вышелъ на дворъ.

³³ Зачеркнуто в ркп. II: Тихонъ вышелъ на дворъ, досталъ сѣнца отъ лошадей, посмотрѣлъ было въ сани, но ему не понра-
вилось, и влѣзъ на амбаръ. На амбарѣ онъ постелилъ свой кафтанъ на сѣно и, чему то посмѣиваясь, слѣзъ опять и вышелъ

лоснились. Въ рошѣ сохла роса съ солнечной стороны и пѣли птицы. Народъ шель изъ церкви. Шли старики большими, широкими шагами (шагами рабочаго человѣка), въ бѣлыхъ, за ново вымытыхъ онучахъ и новыхъ лаптяхъ, которые съ палочками, которые такъ, по одному и по парно; шли мужики молодые, въ сапогахъ; староста Михеичъ шель въ черномъ, изъ фабричнаго сукна кафтанъ; шель длинный, худой и слабый, какъ плетень, Ризунъ, Ѳоканычъ хромой, Осипъ Наумычъ бородастый. <Всѣхъ этихъ мужиковъ и бабъ мнѣ нужно будетъ описать въ этой исторіи>. Шли дворовые, мастеровые въ свиткахъ, лакеи въ нѣмецкихъ платьяхъ, дворовскія бабы и дѣвки въ платьяхъ съ подзонтниками, какъ говорили мужики. На нихъ только лаяли крестьянскія собаки. Шли дѣвочки табунками, въ желтыхъ и красныхъ сарафанахъ, ребята въ подпоясанныхъ армячкахъ, согнутыя старушки въ бѣлыхъ чистыхъ платкахъ, съ палочками и безъ палочекъ. Ребятницы съ бѣлыми пеленками и холостыя пѣстрыя бабы въ красныхъ платкахъ, синихъ поддѣвкахъ, съ золотыми галунами на юбкахъ. Шли весело, говорили, догоняли другъ друга, здоровкались, осматривали новые платки, бусы, коты прошивные.³⁴ Всѣ они были знакомы Тихону; по мѣрѣ того какъ они подходили, онъ узнавалъ ихъ. Вотъ Илюшины бабы <щеголихи> идутъ. «Какъ разрядились, – думалъ Тихонъ, – и къ другимъ не пристають», <не отъ того, что у нихъ платки и сарафаны лучше всѣхъ, но отъ того, что самъ строгій старикъ свекоръ идетъ той стороною дороги и посматриваетъ на нихъ.> Вонъ мальчишки идутъ за Илюшей и <втихомолку> смѣются надъ нимъ. <Вонъ Осипъ Наумычъ идетъ одинъ въ лаптяхъ и старомъ кафтанишкѣ, а Тихонъ знаетъ, что у него денегъ станетъ всю деревню купить.> Вонъ идетъ худая, разряженная баба, убрана какъ богачка, а Тихонъ знаетъ, что это самая послѣдняя, заваливающая баба, которую мужъ ужъ давно бить пересталъ. Идетъ прикащица съ зонтикомъ, разфрантилась, и работница ихъ, Василиса, въ красной занавѣскѣ. А вотъ Матрешкинъ, дворовый, красную кумачевую рубаху вчера купилъ въ городѣ, надѣлъ, да и самъ не радъ, какъ народъ на него дивится. Вотъ Ѳоканычева дѣвка съ дворовыми идетъ, съ Маврой Андреевной разговариваетъ, оттого что она грамотница, въ монастырь хочетъ итти. Вотъ Минаевы идутъ сзади, и баба все воеетъ, должно, хоронила кого, а вонъ Ризунова молодайка идетъ, <какъ купчиха разряженная и> все въ пеленки лицо прячетъ.³⁵ Видно, родила, причащать носила. Вонъ Болхина старуха съ клюкой, шла, устала, сѣла <и все молится Богу и прохожимъ говорить, что она нынче въ послѣдній разъ въ церкви была, что ужъ смерть ея пришла за ней. И поглядѣть на нее, такъ кажется, что правда.> Все жива старуха. А ужъ лѣтъ 100 будетъ. А вотъ и мои – старикъ большими шагами шагаетъ, и все горбъ у него такой же, – думалъ Тихонъ. – Вотъ и она... <Красавицу, кто бы она ни была, баба ли, барышня ли, издалека видно. И идетъ она иначе, плыветъ точно, и голову несетъ и руками размахиваетъ не такъ, какъ другія бабы, и цвѣта-то на ней ярче, рубаха бѣлѣе и платокъ краснѣе. А какъ красавица она, да своя, такъ еще дальше узнаешь; такъ-то и> Тихонъ съ другого конца улицы узналъ свою бабу. Маланья шла съ солдаткой и съ двумя бабами. Съ ними же шель замчной солдатъ въ новой шинели, казалось, ужъ пьяный, и что-то рассказывалъ, махая руками. Цвѣта на Маланьѣ всѣхъ ярче показались Тихону. <Маланья гдѣ бы ни была, всегда къ ней приставали, около нее сходились другія молодайки, мужики и молодые ребята, проходя мимо, замолкали и поглядывали на нее. Даже старикъ рѣдкій проходилъ, чтобъ не посмѣяться съ ней; ребята и дѣвочки обходили ее, косились и говорили: «Вишь Маланька-то, Маланька-то какъ идетъ».>

за ворота.

³⁴ Зачеркнуто в ркп. II: <Весело смотрѣть на <праздничный> народъ, когда онъ въ праздникъ идетъ изъ церкви, да еще веселѣй, какъ знаешь этотъ народъ, какъ всякаго знаешь и что къ чему знаешь. Вотъ> Ермилины бабы щеголихи идутъ и къ другимъ не пристають, не отъ того, что у нихъ платки и сарафаны лучше всѣхъ, но оттого что самъ старикъ Ермила, свекоръ, идетъ той стороною и посматриваетъ на нихъ. Бѣда, коли увидить, что онъ съ ребятами играть стануть или что. Мальчишки стороною идутъ, подальше обходятъ Ермила и смѣются надъ его брюхомъ.

³⁵ Зачеркнуто в ркп. I: она послѣ родовъ въ первый разъ въ церкви была и ребенка причащала. Вонъ солдатъ замчной въ новой шинели идетъ, ужъ пьянъ, гдѣ то набрался, къ бабамъ подлипаеть.

А Маланька шла точно также, какъ и другія бабы, ни наряднѣе, ни чуднѣе, ни веселѣе другихъ. На ней была панѣва клѣтчатая, обшитая золотымъ галуномъ, бѣлая, шитая краснымъ рубаха, гарусная занавѣска, красный платокъ шелковый на головѣ и новые коты на шерстяныхъ чулкахъ. Другія были въ сарафанахъ, и въ поддѣвкахъ, и въ цвѣтныхъ рубахахъ, и въ вышивныхъ котяхъ. Также, какъ и другія, она шла, плавно и крѣпко ступая съ ноги на ногу, помахивая руками, подрагивая грудью и поглядывая по сторонамъ своими бойкими глазами. <Да что то не то было въ ней, отчего её издалека видно было, а вблизи с нее глазъ спустить не хотѣлось.> Она шла, смѣялась съ солдатомъ и про мужа вовсе не думала.

– Ей Богу, наймусь въ выборные, – говорилъ солдатъ, – потому, значить, въ эвтомъ дѣлѣ очень исправно могу командовать надъ бабами. Меня Андрей Ильичъ знаетъ. Я тебя, Маланья, замучаю тогда.

– Да, замучаешь, – отвѣчала Маланья, – такъ то мы лѣтось земскаго въ ригѣ, лень молодили, завалили, портки стащили, да такъ то замучали, что побѣжалъ, портки не собралъ, запутался. То то смѣху было.

И бабы покатались со смѣху, даже остановились отъ хохота, а солдатка хохотунья присѣла, ударила себя по колѣнямъ ладонями и завизжала хохотомъ.

– Ну васъ совѣмъ, – сказала Маланья, локтемъ толкая товарку и понемногу затихая отъ смѣха.

– Ей Богу приходи, – сказалъ солдатъ, повторяя то, что онъ уже говорилъ прежде, – сладкой водки куплю, угощу.

– Ей мужъ слаще водки твоей, – сказала солдатка, – нынче пріѣхать хотѣлъ.

– Слаще, да какъ нѣтъ его, такъ надо чѣмъ позабавиться для праздника, – сказалъ солдатъ.

– Что ты мое счастье отбиваешь, – сказала Маланья. – Больше водки покупай, Барычевъ, всебезпремѣнно придѣмъ.

И вдругъ Маланьѣ вспомнилось, что мужъ второй праздникъ обѣщалъ пріѣхать и не пріѣзжаетъ, и по лицу ея пробѣжало облако. Но это было только на одно мгновенье, и она опять начала смѣяться съ солдатомъ. Солдатъ шопотомъ сказалъ ей, чтобы она одна приходила.

– Приду, Барычевъ, приду, – громко сказала Маланья и опять залилась хохотомъ. <Не много нужно, чтобы рабочимъ, молодымъ и здоровымъ людямъ въ праздникъ было весело.> Солдатъ обидѣлся и замолчалъ.

Анисимъ Жидковъ, который видѣлъ, какъ Тихонъ вѣхалъ въ деревню, стоялъ у порога своей избы; мимо самага него проходили бабы. Когда Маланья поравнялась съ нимъ, онъ вдругъ ткнулъ её въ бокъ пальцемъ и сдѣлалъ губами: крр... какъ кричать лягушки. Маланья засмѣялась и на отмашь ударила его.

– Что, хороводница, лясы точишь съ солдатомъ, мужъ глаза проглядѣлъ, – сказалъ Анисимъ смѣючись, и, замѣтивъ, какъ Маланья вся вспыхнула, покраснѣла, услыхавъ о мужѣ, онъ прибавилъ степенно, такъ чтобы она не приняла за шутку:

– Ей Богу. Въ самыя обѣдни на тройкѣ пріѣхалъ. Могарычъ за тобой.

Маланья тотчасъ же отдѣлилась отъ другихъ бабъ и скорымъ шагомъ пошла черезъ улицу. Пройдя черезъ улицу, она оглянулась на солдата.

– Мотри, больше сладкой водки покупай, я и Тихона приведу, онъ любить.

Солдатка и другія бабы засмѣялись, солдатъ нахмурился.

– Погоди жъ ты, чортова баба, – сказалъ онъ.

Маланья, шурша новой панѣвой и постукивая котами, побѣжала до дома. Сосѣдка посмѣялась ей еще, что мужъ гостинца – плетку привѣзъ, но Маланья, не отвѣчая, побѣжала къ избѣ.

Тихонъ стоялъ на крыльцѣ, смотрѣлъ на свою бабу, улыбался и похлопывалъ кнутомъ. Маланья стала совсѣмъ другая, какъ только узнала о мужѣ и, особенно, увидала его. Краснѣй стали щеки, глаза и движенія стали веселѣе и голосъ звучнѣе.³⁶

– И то видно, плетку въ гостинецъ привезъ, – сказала она смѣясь.

– Ай плоха плетка то? – сказалъ мужъ.

– Ничего, хороша, – отвѣчала она улыбаясь, и они вошли въ избу.

Вслѣдъ за бабой пришелъ старикъ и пошелъ съ Тихономъ смотрѣть лошадей. Маланья скинула занавѣску и принялась помогать матери собирать обѣдать, все поглядывая на дверь. Старикъ вошелъ въ избу, старуха стала разувать его. Маланья побѣжала на дворъ къ Тихону, схватила его обѣими руками за поясъ и такъ прижала къ себѣ, что онъ крякнулъ и засмѣялся, цѣлуя её въ ротъ и щеки.

– Право, хотѣла къ тебѣ идти, – сказала Маланья, – такъ привыкла, такъ привыкла, скучно да и шабашъ, ни на что бѣ не смотрѣла, – и она еще прижалась къ нему, даже приподняла его и укусила.

– Дай срокъ, я тебя на станцію возьму, – сказалъ Тихонъ, – тоже тоска безъ тебя.

Гришутка вышелъ изъ избы и, посмѣиваясь, позвалъ обѣдать.

Старикъ, старуха, Тихонъ, Гришутка и солдатёнокъ, помолвившись, сѣли за столъ; бабы подавали и ѣли стоячи. – Тихонъ ни гостинцевъ не роздалъ ни денегъ не отдалъ отцу. Все это онъ хотѣлъ сдѣлать послѣ обѣда. Отецъ, хотя былъ доволенъ всѣми вѣстями, которыя привезъ Тихонъ, все былъ сердитъ. Онъ всегда бывалъ сердитъ дома, особенно въ праздникъ, покуда не пьянъ. Тихонъ досталъ денегъ и послалъ солдатку за водкой. Старикъ ничего не сказалъ и молча хлебалъ щи, только глянулъ черезъ чашку на солдатку и указалъ, гдѣ взять штофчикъ.

Тройка была хороша, денегъ привезъ довольно. Но старику досадно было, что сынъ карего мерина промѣнялъ. Карего мерина, опоёнаго, самъ старикъ прошлымъ лѣтомъ купилъ у барышника и никакъ не могъ согласиться, что его обманули, и теперь сердился, что сынъ промѣнялъ такую по его мнѣнью хорошую лошадь. Онъ молча ѣлъ, и всѣ молчали, только Маланья, подавая, смѣялась съ мужемъ и деверемъ. Старикъ прежде самъ ѣзжалъ на станціи, но не зналъ этаго дѣла и прогонялъ двѣ тройки лошадей, такъ что съ однимъ кнутомъ пришелъ домой. Онъ былъ мужикъ трудолюбивый и не глупый, только любилъ выпить и потому разстроилъ свое хозяйство, когда велъ его самъ. Теперь ему весело и досадно было не за одного карего мерина, но и за то, что сынъ хорошо выстоялъ на станціи, а самъ онъ раззорился, когда ѣздилъ ямщикомъ.

³⁶ Зачеркнуто в ркп. II: и на мѣстѣ ей не стоялось. Она сбѣжала на дворъ, поздоровалась съ мужемъ, но Тихонъ показывалъ отцу новокупленную лошадь, и Маланья не посмѣла говорить, она опять побѣжала въ избу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.